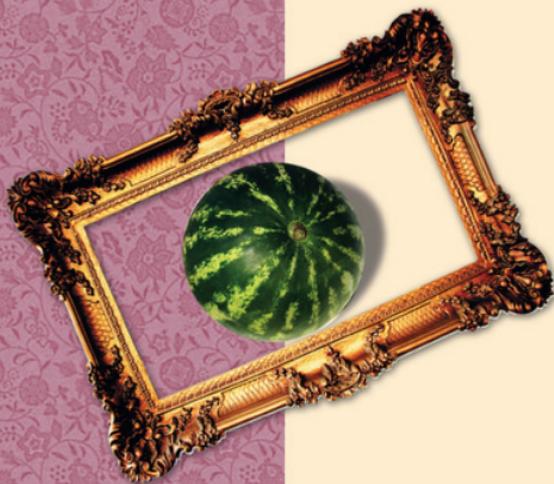


Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



Портрет и вокруг

Владимир Семенович Маканин

Портрет и вокруг

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3088605

Владимир Маканин. Портрет и вокруг: Эксмо; Москва; 2009

ISBN 978-5-699-37346-8

Аннотация

В любом человеке есть художник. Каждый мечтал бы сменить спокойную, размеренную жизнь на страсти и муки творчества. Поэтому непременно в героях книг Маканина читатель открывает частицу себя.

Маканин виртуозно исследует психологию таланта, его наивность и жертвенность, самовлюбленность и авантюризм.

Проза Маканина – чуткий барометр времени. Именно по ней определяется величие эпохи и самостояние личности.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
Глава 1	4
Глава 2	9
Глава 3	26
Глава 4	46
Глава 5	68
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Владимир Маканин

Портрет и вокруг

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Сравнительно со мной жена была совсем молоденькая девчонка: десять лет разницы, а мне было тридцать четыре, самые те годы. Когда человеку тридцать четыре, о нем уже можно сказать и не промахнуться. «Женат с запозданием», – говорила про меня соседка по подъезду.

Зная про «запоздание», я чуть ли не ритуально любил вечерами (после трудов и суеты) возвращаться домой, неторопливо и *с предвкушением* подымаясь по ступенькам, а потом на лифте. «Привет!» – звучно объявлял я на пороге. И это должно было означать, что я явился домой и что я счастлив. Жена улыбалась, как и положено улыбаться жене. Двухлетняя дочка тоже улыбалась. С порога я их не видел, но знал, что они на кухне и что они улыбаются.

Жена докладывала:

– Машка опять кричала. Какой-то ужас...

– Во время массажа? – Я знал, но я спрашивал.

– Ну да.

– Почему?

– Массажистка пришла замерзшая. Руки у нее озябли и задубели – много ли ребенку надо!

Это если дело было зимой или в осень. Летом объяснение было, например, такое:

– Мне кажется, массажистка сегодня не выспалась. И нервничала. Когда она нервничает, ребенок тут же чувствует...

Я спрашивал, дергая Машку за ухо:

– Что ж ты кричала?

– Не знаю, – хихикала она, напрочь забыв неприятности.

– Кто ж знает?

Это был, в общем, не массаж, а если говорить точнее, не только массаж. Это была разработка слабых мышц. Маша перенесла грипп, а затем осложнение, и с этим мы жили: как сказал некий старичок, что за семья без своей беды. Нам повезло: осложнение зацепило лишь ноги. Маше было два года, она не ходила. Но надежда была. Разработать контрактуры в стопах, укрепить мышцы, верить и надеяться – советовали нам медики. Что мы и делали. Каждый четный день мы разрабатывали ей стопы и ноги самостоятельно (жена, реже – я), а по нечетным приходила массажистка-профессионал. За визит она брала два рубля, по-божески. Как все, кто живет реальной более или менее завтрашней надеждой, мы ладили.

Когда жена и Машка засыпали, я наконец переезжал на

кухню, в выжданное свое одиночество. Включал настольную лампу. И, выложив локти под желтый круг абажура, работал. Было тихо. Было как надо. У нас была стандартная однокомнатная квартира. Иногда у жильцов над нами еле-еле слышно гудел водопроводный кран. Иногда он гудел сильнее. Мелочь, не нарушающая идиллии. И даже подчеркивающая.

Работал я без гонки. И даже напротив – с таким ощущением недавно обретенной семейной степенности. Семья подрезает крылышки, но дает тебе вес. Дает большую массу, чтобы ты не ударом кулака пробивал фанерный лист, как пробивают его в молодости, – а чтобы сел на него и терпеливо продавливал задом. К тому же я чувствовал некую провинность перед природой, потому что юность прошла, и в протекшей воде как-никак сшибло кое-что и кое-что утерялось. Был у меня приятель, бабник и непоседа, которому лет десять – пятнадцать никак не сиделось на месте. У него росли дети и старела жена, а он все болтался в экспедициях и командировках, которые сам себе выписывал. Наконец он устал, угомонился. И теперь не может нарадоваться, что успел в жизни и то, и это. Он живет в семье. Он никуда не ездит. «Такой долг перед ними накопился, что уже не расплатиться», – любит он повторять, в особенности под хмельком. Фраза с претензией, но суть отражала. Что-то похожее было и во мне. Вроде бы долг.

Теперь о работе. В те дни я неторопливо и с достаточной тщательностью заканчивал повесть о другом моем приятеле

– этот совсем никуда не ездил, жил в Москве, но без конца томился по своим родным местам: он был родом с Урала. К большому городу он так и не прижился, тосковал, дергался, однако в родные места тоже не вернулся. Невозвращение было противоречием в человеке и основной его изюминкой. Такие вот повести я тогда писал, изображая живых и знакомых мне людей. Для себя я называл этот жанр повестью-портретом.

* * *

Теперь о деньгах: подрабатывал я в детском журнале, поставляя небольшие статьи. Платили мне средненько. Но верхом не ездили: я не был обязан сидеть у них день напролет и полировать стулья своими брюками. Сговорился о работе, пожал руку – и домой.

– Привет! – кричал я жене с порога.

Направо, как войдешь, была кухня. И если жены на кухне не было, значит, она была в комнате. Разбирала там и переписывала бесконечные заводские сводки. Она лаборантка, и работу переписчицы ей дали из большого сочувствия к заболевшему ребенку. Карточек с цифрами было за сотню, в отчетный период карточками были усыпаны и тахта, и стол. Тахта стояла громадная и нестерпимо желтого цвета – подарок челябинского тестя. Зато стол был тонюсенький, модернажка на тонкой ножке. Опенок. Жена сидела на стуле и пе-

ребирала карточки. Машка сидела в легкой летней коляске и перебирала игрушки. Такой пейзаж.

– Слышишь, Игорь, – говорила моя молодая жена, не отрываясь от переписки. – Машка опять кричала. Это просто ужас.

– Во время массажа?

– Ну да.

– Почему?

Жена искала причину. Или винила массажистку. Маша слушала и сияла.

– Чего смеешься? – спрашивал я. – Смеешься, а завтра опять кричать будешь?

– Не буду.

– Не верю я тебе. Врушка ты.

– Я не врушка. Я Машка.

Мы долго (речь о тех же, об идиллических, минутах) смеялись такому ее ответу. Затем это обращалось в игру. Мы уже знали, что так или иначе, чередуя разговорные реплики, мы ее вновь на этот смешной ответ наведем. И она знала. Игра была общей.

– Я не врушка. Я Машка, – отвечала она, и мы смеялись, даже если смеялись в десятый раз.

Потом ужинали. На кухне. Потолок на кухне был ярко-белый. Чуть ниже потолка – зияющий люк антресолей. Из люка торчала раскладушка. Ложе про запас. Если случался гость с ночевкой, раскладушка ему ставилась здесь же на кухне.

Глава 2

Например, приходил Виталик. Он приходил к нам раз в неделю, а то и чаще: милый и симпатичный паренек. Пожалуй, излишне милый и излишне подобострастный, но это не было его сутью. Он упорно называл мою жену тетей Аней, а меня на «вы» Игорем Петровичем, – столь же упорно мы пытались из него это вывести. Но не получалось. Ему было семнадцать. Родители вприснули вежливость в самые его мозги, если не глубже; а до всемирного запанибратства он еще не дорос, не дотянулся, хотя оно вот-вот должно было в нем прорезаться – и, как известно, этого не минуешь. Именно так. Ему было семнадцать, он заканчивал десятый класс, а институт себе все еще не выбрал. Он был из таких. Из тех, кто не успевает выбрать. Правда, из-за плоскостопия служба в армии ему не предстояла: с выбором он мог не спешить. Плоскостопие ничуть не мешало ему вдохновенно играть в баскетбол. А еще он рисовал. А еще был, что называется, без ума от лирической прозы – и конечно же сам тоже писал. Прозу, а не стихи. Дух времени.

– Теть Ань... мне бы ноги вытереть. – И Виталик осторожно вносил в наш коридор свои длинные жерди баскетболиста с весенней грязью на ботинках.

– Проходи. Проходи смелее... Мне все равно убирать сегодня.

Но он говорил:

– Нет, дайте мне тряпку, пожалуйста.

– И чтобы я не слышала больше «тетя Аня»... Виталик!

Неужели я старуха?

– Нет, тетя Аня. Что вы!

– Опять? – И они там, в прихожей, смеялись.

Потом он проходил в комнату и, как мышонок, тихонько садился у книжной полки. Я кивал ему: привет! – сам сидел за столом и заканчивал свою поденщину. Виталик брал книгу с полки, закидывал ногу на ногу и читал. Листал за страницей страницу. Ждал меня, а может быть, и не очень ждал. Свой человек.

Аня поила его чаем с печеньем, потому что, даже если ты сыт, наполнить желудок горячим чаем никогда не лишне. Жили, кстати сказать, мы туго, и чай иной раз числился за ужин. Виталик помешивал ложечкой в чашке и рассказывал Ане о себе. О молодых заботах. Или же – рассказывал о лекарствах, он иногда доставал для Машки некоторые препараты, – был свой человек и старался быть полезным. Случалось, что он засиживался. Аня и Машка давно спали. Было сильно за полночь. А я и Виталик сидели на кухне и говорили вполголоса о том, что психологический роман устойчив как жанр лишь на одном, двух или – самое большее – трех героях.



Дядей Виталика был известный кинодраматург Павел Леонидович Старохатов. По натуре деятель, по прозвищу Граф – его так называли и за глаза, и в глаза. Ему, вероятно, нравилось, потому что такие штуки нравятся и еще потому, что если бы не нравилось, кто бы стал известного человека так называть. Он был руководителем Сценарной Мастерской, в которой я когда-то занимался и в которой из меня ничего не вышло. Нас называли «слушателями» и учили писать сценарии для кино. Таких мастерских было в те времена шесть или семь.

Когда Виталик пришел к нам домой впервые, он сказал в одну из пауз общего разговора; сказал мне:

– Вам от дяди моего привет.

– Да ну! – Я засмеялся. Потому что, разумеется, никакого приветствия не было. Хорошо еще, если Старохатов более-менее помнил меня в лицо.

Но Виталик был мальчик вежливый. И воспитанный. Он считал, что дядя прямо-таки обязан передавать привет, потому что как же нам тогда без этого жить? Он уже искренне поверил в маленькую свою ложь и теперь стоял на этом, как стоят насмерть. Бледный и решительный... такой он был в ту минуту.

Он повторил (и довольно жестким для юнца голосом), что

если я сомневаюсь и ему не верю, он сейчас же наберет нужный номер и позовет к телефону дядю для подтверждения.

Но больше приветов он не передавал. (Подозреваю, что он и видел своего знаменитого дядю всего раз-два.)

Мастерской Старохатова я уже давно не интересовался. Я в общем знал, что почти все мои сокурсники несут свой крест пишущего человека, как несут и я, – с той лишь разницей что время от времени они выдают на-гора фильмы, которые, если удавалось, я смотрел с чувством смутной неловкости. Обо мне и того нельзя было сказать. «Как? Разве ты занимался в Мастерской?» – удивлялся кто-нибудь в разговоре. И я сам этому удивлялся. В Мастерской теперь был уже третий после нас набор. Как они там жили-были, я не знал.

Два телефонных звонка – их как раз разделяли летние месяцы – могут считаться началом.

Звонила Вера – маленький административный работник Мастерской, что-то вроде секретаря, если говорить с официальным оттенком. Пухленькая, невысокая, довольно милая женщина, если говорить по существу. Во всяком случае, она такой была в памяти, если память срабатывала сразу и не дробила восприятие на то, на другое и третье. Ей бы (по внешнему облику) очень подошло имя на «А» – Ангелина, Анна или Алла. Но ее звали Верой. «Я для вас Вера Сергеевна – ясно?!» – с некоторым наигрышем сердилась она. Или: «Прошу запомнить раз и навсегда – Вера Сергеевна!» Или: «Как только кончают Мастерскую, на другой же день

называют меня просто Верой. Как девочку. Как подружку. Как будто я с ними пиво пила в перерывах. Безобразие!» – и, конечно, смеялась.

И вот звонок много лет спустя. В мае. Перед летом.

– Игорь?.. Здравствуйте. Это звонит Вера. Давно тебя не видела. – Тут она заговорила быстро-быстро, зачастила: – Приезжай в Мастерскую. Как-нибудь. Посмотришь фильм. Посидим. Поболтаем.

Я ответил, что приеду. Что конечно же и обязательно *каким-нибудь* приеду.

– Не приедешь, я тебя знаю.

– Ну почему же?

– А хочешь – я к тебе приеду в гости?

– Приезжай.

– Но лучше не надо, – верно?

– Тоже ошибки не будет.

Посмеялись.

– А что, если я в самом деле нагряну в гости? Я ведь еще твоей жены не видела. И вообще. Разве я не могу приехать в гости к своему бывшему... (Тут она сделала еле заметную паузку, крохотную, какую умеет делать истинная киношница. Другая бы женщина выдала паузу емкую. Или даже затянуто-значительную, чтоб без промаха. Или, тоже бывает, хихикнула бы в придачу)... К своему бывшему... слушателю.

– Конечно, можешь – приезжай.

– Могу? – Она как бы настаивала.

Я недоумевал: чего ради затеян треп? – а ведь чего-то ради он был затеян. Потому что ни я к Вере, ни она ко мне без дела, притом важного, не потащимся. Без дела мы и звонить не рискнем. А дел у нас не было, это точно.

– Вера, если приезжать, то приезжай, – сказал я с нажимом, потому что не знал, что сказать дальше. – Пока.

Но трубку, конечно, не повесил.

– Вот и дождалась. Вот и «пока» мне сказали.

– Обидчивая?

– Может быть... А у тебя, конечно, все хорошо. Все прекрасно. Все замечательно. Сидишь в своей келье и...

– А ты не сидишь в своей келье? – Я вдруг озлился.

– Не знаю. Зато я знаю другое – поговорить по-человечески стало не с кем. Чуть трудно – все от тебя разбегаются или «пока» говорят. Гадостно...

И тут она расплакалась, – ее слезы и всхлипы накатили на меня в полной мере, как будто это въявь и рядом, а не на другом конце города... Прошла еще минута. Разговор мы кое-как закончили, Вере уже было неловко, что она ударилась в слезы. А я изо всех сил зазывал ее в гости. Более того – я клятвенно обещал сам приехать в Мастерскую.

– Не обязательно, – сказала Вера. – Живи спокойно и, бога ради, не волнуйся. Это у меня нервы.

В свой час я вышел с Машкой на воздух, – толкая коляску по асфальтовой тропке, вез засидевшееся дитя навстречу кислороду.

– Мы смотрим на людей? – спросило дитя.

– Ага.

С дальнего пригорка мы видели выход из метро – Москва шла с работы, пульсировала, выдавливая людей из-под земли порцию за порцией, как выдавливают начинку.

Манеры киношниц я не любил и отчасти переносил эту нелюбовь на самих киношниц. Разговор, как ни изворачивайся, идет рядом с чувством, как правая нога с левой, – однако киношница не вполне способна отличить, что у нее свое и что с экрана, от которого она только-только оторвала ненасыщаемые очи. И потому тонкие характерные паузки в начале разговора и бурные слезы под занавес тебе лучше всего не принимать близко, таков опыт. Тем более что эти *малые истерики* вовсе их, киношниц, не угнетают, наоборот. Они их очищают. Они их просветляют. Они – часть их жизни.

– Так я приеду. Слышишь?! Слышишь? Соберусь и приеду, – говоришь ты, тронутый (а точнее сказать – ошарашенный) ее слезами.

– Не обязательно, – отвечают тебе. – Это я так. Нервы.

Она отвечает и слышит в эту минуту самое себя, как неко-

которые мистики слышат бога. Фразы ее после маленькой истерики сочны, упруги, свежи – слова блестят, как блестят листья после дождя.

* * *

Летом мы отбыли в деревню.

Мои старики выглядели неплохо, даже лучше, чем я ожидал, – последний, видимо, всплеск жизни. Им было уже под семьдесят, самые те годы. Дом состарился и заметно врос в землю. И яблони раскорячились – тоже старость. Но белый налив был все так же хорош и нежен. И мать все так же стеснялась возить его на продажу. То есть она преотличненько возила, и продавала, и торговалась, и всякое такое, но, если Машка, я и жена приезжали, стеснялась. Ей не давало покоя, что она школьная библиотечарша.

– Какая ты теперь библиотечарша? – сказал я. – Теперь ты пенсионерка.

– Была ж ей.

– Что?

– Была ж библиотечарша как-никак. – И она строго поджала губы. Библиотека в школе и торговля на базаре для нее в эту минуту были несовместимы.

Старая закваска. Ни убедить, ни объяснить. Белый налив так и погнил вполовину. А базар, как выяснилось, был теперь всего в двух километрах – на пыльном перекрестке. То есть и

везти далеко не надо. Я бы сам отнес яблоки. Я бы постоял у прилавка. Я бы продал. Она едва не упала в обморок, когда я предложил погрузить белый налив мне на спину и двинуться с ней вместе к перекрестку.

Отец стал совсем старичком – рот запал, шепелявил отец с каким-то присвистом.

– Я теперь как Соловей-разбойник, – засмеялся он и присвистнул раза два, чтоб я отметил и оценил.

Когда выпили, отец завел речь о том, что он неплохо и с пользой для людей пожил. И ведь немало пожил, пора и честь знать. Потом он долго кашлял. Потом сказал:

– Сейчас я выпивши, – извинительная интонация, – а когда протрезвею, я тебе о дочке что-то скажу.

– О Машке?

– О ней.

– Скажи сейчас.

– Нет. Я тебе после скажу... Оно не так скажется – а ты обидишься.

Но конечно же он сказал. Потому что чем сильнее уходишь от разговора, тем отчетливее разговор остается с тобой и с твоим собеседником – и деться вам обоим уже некуда. Но сначала мы с отцом спустились к реке: смотреть пуск и первые труды парома. Я любил смотреть. Я даже заспешил: хотелось увидеть. Я поторапливал отца и спросил, куда же денется теперь перевозчик, то есть лодочник. Отец вдруг сурово брякнул, что в деревне с голоду не помирают. И что пе-

ревозчик будет держать перевоз в Демьяновке. Десятью километрами выше. Не пропадет.

– Ну и очень хорошо, – миролюбиво сказал я, не понимая, откуда его раздражение.

– Вот то-то.

А я смотрел на буксирчик, который перемещался по глади реки туда-сюда. Перед своим первым подвигом он был необыкновенно суетлив – бегал, фыркал и явно нервничал. И напоминал видом и ролью шустрого деревенского кобелька микроскопических размеров и с не вполне приличным именем – Хер. На воде темнела огромная масса парама. Буксирчик уже плясал вокруг нее. Пристраивался.

– Слышь, Игорь, – сказал отец, – я о дочке твоей.

– Да.

– Не обидишься?

– Не обижусь. – Я засмеялся; я смотрел на все это куда проще.

От ближнего к нам, недавно сколоченного причала несло свежей стружкой. Ока притихла. Деревья по берегам млели.

– Если она, – отец глотнул побольше воздуха, – убогой будет, неходячей то есть, оставляй ее у нас, насовсем. В деревне не пропадают.

И он помолчал так внушительно, что в просвет его слов можно было бы сплавить на ту сторону Оки и без спешки вернуться. Потом он добавил:

– А мы помрем – у дядьки Толи останется. Он помоложе.

Меня тронуло и это «помоложе», и «мы помрем», и где-то за кадром «дядька Толя», потому что минута идет за минутой, ты живешь и думаешь, что живешь вечно, но однажды такие слова тебя тронут. И уже будут трогать время от времени. Запах с того берега. Я долго и рассеянно рассматривал крыши изб в мареве. Мы смотрели с бугра. Вечерело. Ласточки описывали круги возле задымившей трубы – они проделывали это математически правильно и чисто, круг за кругом, при высочайшем совершенстве лёта.

– Там будет видно, – ответил я отцу. – Пусть Машка сначала подрастет. А там будет видно.

И все. Рассуждать и делать прикидку на будущее я не хотел – я знал нечто, чего не знали другие. Недавно после «прогулок» по горячему песку я массировал ей ноги. И, делая сгиб в колене, вдруг почувствовал силу упора ноги. Я с ходу преодолел, согнул ей стопу, и нога сникла, опять была вялая, однако оно уже было со мной и во мне – ощущение. Я не поверил. Машка лежала на животе и повторяла подманивающее «гули-гули-гули» (поодаль россыпью темнели и постанывали голуби). Я продолжал массировать. Я не верил и думал, не галлюцинация ли. Но голуби бродили. Машка им гулькала. Песок был горяч. А в моей ладони было то самое, не остывшее еще ощущение. Я промолчал об этом. Ни врачам, ни даже жене, ни даже самому себе. Чтоб не спугнуть.



Часам к двенадцати дня, когда песок нагревался, я тащил Машку к реке – тащил на себе, а потом мы «прогуливались». Я ставил ее на ноги, как ставят манекен или большую куклу, крепко придерживал ее под мышками и с ней вместе делал шаг за шагом. Она перебирала ножками. А вес ее тела держал я. И тогда она была в силах переставлять и погружать стопы в раскалившийся на солнце песок. Это было лечение. Четырежды в день, не больше и не меньше.

Поостыв и повалявшись всласть, я вынимал из сложенных в сторонке брюк письмо от Виталика – он писал часто. Щурясь от солнца, я читал, например, о том, что «Воры» (рассказ Чехова) являются, как оказалось при внимательном изучении, прямой копией лермонтовской «Тамани». Оказалось, что это сколок, несомненно сколок, пусть даже очень талантливый. И что как же быть и как теперь жить на белом свете, если даже Чехов не всегда самостоятелен. Ведь критики твердили и твердят, что вторичное не пахнет. И уж как-нибудь Чехов слышал об этой их мудрости... Виталик был вконец расстроен. В постскриптуме мальчик сообщал, что он расстроен, и что ему скучно, и что от скуки он «замыслил» сразу два романа. Один на бумаге. Как прозаик. И один на земле. Как человек.

Жара была, какой и должна быть летняя жара: мозги пла-

вились. Машка была пристроена в тени. Я лежал на белом песке, и делать было настолько нечего, что тупо и неотвязно думалось о том, что скоро обед, а там вечер, а завтра, слава богу, уже и дело есть – идти и смотреть, как кастрируют коней. Увидишь это не часто; знание есть знание, а дармового знания я старался в те годы не упускать. Тем более такого знания, – я усмехнулся: тебе, мол, семенному, теперь только и смотреть, как кастрируют. Полезно, братец. Для души твоей очень полезно.

– Игорь!.. Игорь! – звала обедать матушка, она кликала высоким и писклявым и бессмертным своим голосом – звала, потому что не различала меня на песчаной полосе берега. Она уже плохо видела.

* * *

Коней кастрировали на той стороне Оки – это делалось возле загона, в десяти – пятнадцати шагах от изгороди, на траве. Сначала неторопливо решали – которого. «Начнем с Жулика?» – «Как хочешь». – «Он приметный!» И на коня набрасывали самую обычную петлю. Он упирался и, хотя уже был с петлей на шее, забивался в самую гущу табуна – думал, может, не найдут, в прятки играл. Слышался храп, сап, иногда ржанье. Всего в этот день было кастрировано шесть коней. И в полном соответствии с природой в ведро было брошено двенадцать громадных яиц. Потом ведро унесли для

отчета, потому что так полагалось.

Сначала коня оттесняли от табуна – выводили из загона и связывали хитрой восьмеркой шею и заднюю ногу. Фиксировали и вторую заднюю ногу для верности. Подсекали – и конь разом валился на бок. До подсечки кони вели себя спокойно, а дальше были они спокойны или нет, значения не имело. Лежащему коню задирали задние ноги враскоряк – делали это сразу пять человек, все, кто здесь был. До этого двое или трое просто стояли. Посмеивались и покуривали. Теперь они включались все разом. И были предельно собраны, особенно если выпадало удерживать заднюю ногу. Конь лежал на спине, дрыгался и иногда вставал на голову.

Наконец, навалившись и придавив, замирали в ожидании, и кто-то звал – он звал совсем негромко: «Галь!» – и из землянки возле загона выходила девушка и шла к распластанному коню. Ей было лет шестнадцать, совсем зелен, звали ее Галочкой. Она была в белом халате и сама была беленькая. В одной руке держала скальпель, в другой – ведро с дезинфицирующим раствором. У нее были быстрые голубые глазенки и миловидное лицо. Рязаночка. Свое ведерко она каждый раз уносила в землянку и опять выносила, потому что, пока коня валили, ведро могли сбить. После подсечки все шесть коней бились и метались, будто дело шло о жизни и смерти, такое вот заблуждение.

Третий по счету конь после операции не вставал. Лежал, закатив глаза. Уже Галочка плеснула напоследок на рану

жидкостью из своего ведерка. Уже распутали ему ноги. Уже освободили шею. А он не вставал. Один из конюхов нес к оранжевому ведру яйца – они еле вмещались в его ладони. «Какое добро пропадает!» – подмигнул он мне, проходя рядом. Другой конюх трепал по шее лежавшего в обмороке коня.

– Вставай, вставай! – говорил он.

И опять:

– Вставай, вставай – колхозным будешь!

Конь встал, встряхнулся – и с ржаньем побежал в поле. Их всех после этого выпускали побегать. И пожевать травку. Он бегал, ржал: в табуне ему отзывались.

Должно быть, меня это волновало – кастрирование коней. Должно быть, я всерьез думал, что мне это созвучно. Дескать, женился. Дескать, уже семья и ребенок есть, и в каком-то смысле с моим «я» покончено. И уже для других свобода, воля, зеленые луга и так далее. И, ей-богу, я бы слаще вздохнул, если бы хоть один, потный, горячий, с дрожащим животом, вырвался из их рук и понесся по полю с победоносным и пьянящим ржаньем, – но он конечно же не вырвался и не понесся по полю. Ни один.

Конюх улыбался.

– Да, – говорил он, – хорошие кони будут. Большое мы сегодня дело сделали.

И опять улыбался, мы сидели рядом и курили...

– ...Если их не кастрировать, они же не работают.

– Да?

– Даже запрячь не даются. Ничего не умеют. И ничего не хотят – лодыри...

Он рассказывал. Пояснял:

– А знаешь, как они кобыл кусают? Я тебе покажу у бурой шрамы на шее – будто ее топором отметили. Посмотреть хочешь?

Но не захотел я смотреть шрамы.

* * *

Так и бывает. Ты помнишь всякие такие слова: «индивидуальность», «конь», «ржанье» – и думаешь, и передумываешь наново, – а твои старенькие папа и мама до беспамятства рады и чуть ли по комнатам не скачут, потому что сыночек наконец-то расписался, и загс, и печать настоящая, и все честь честью. Они радовались. Они не пели песен, но они сияли и излучали свет. Три года мы были женаты, и все три года они сияли и излучали свет и готовы были отдать нам дом, огород, одежду, яблони и даже свои старые кости, если бы они хоть на что-то сгодились. Позже они стали прижымисты, потому что старость свое брала. Но в то время они не могли на нас надыхаться – это точно.

Так прошло лето.

А потом они помогали нам погрузиться сначала в автобус, затем в электричку. И вот медленно и надежно, объем за

объемом, вползали за нами банки с соленьями, с вареньями, авоськи с яблоками и маминой стряпней – сначала в автобус, затем в электричку. Присвистнув, электричка рванулась. Я высунулся из окна и вовсю махал им рукой. Жена держала Машку на коленях. Маша была в белой панаме.

– Приезжайте! – кричал оставшийся на платформе отец, а мать держалась за платочек. – Приезжайте-е! – а я махал им рукой и чувствовал себя вполне семьянином, Петром Петровичем или Иваном Ивановичем, который возвращается со своей семьей и с этими вареньями и соленьями. Чувствовал себя мужчиной в доме. Немножко неандертальцем, которому удалось натаскать для племени рыбы из залива. Чувство мне нравилось. «Колхозным будешь», – вспомнил я конюха.

Второй телефонный звонок раздался, когда мы уже вернулись из деревни домой – после лета.

– Алло, – сказал незнакомый женский голос. – Я звоню по поручению Веры Сергеевны. Она просила вам позвонить.

Женский голос продолжал:

– У них в Мастерской сменился номер телефона. Вера Сергеевна просила, чтоб я непременно дозвонилась к вам и этот номер вам сообщила, – запишите.

– Я должен ей позвонить?

– Этого я не знаю. Запишите номер.

Я записал. И без мало-мальской душевной чуткости подумал: чего ей все-таки от меня надо?

Глава 3

Вера уговорила меня помочь ей. Я отнекивался, – склонилась меня одна черточка в ее рассказе, в сущности совсем мелочь. Так и бывает. Ты приходишь поболтать, клюешь на какую-то мелочь, соглашаешься и собираешься только самую малость промочить ноги, а потом влазишь в воду по грудь, если не с головой. Мы с Верой сидели в какой-то угловой харчевне – кафе как кафе. Двое за столиком. Был сентябрь, полно арбузов. Мы купили половинку с ярко-алым срезом и быстренько ее съели. Но если не считать арбуз, семечки и арбузные разводы на столе, то издали виделось то самое – чистенький столик, и двое за столиком, и две чашечки кофе. Как у киношников.

– ...И если бы не кое-что в твоём рассказе, я бы не согласился.

– Значит, согласился? – Вера улыбнулась.

– Да.

– Как хорошо!

Почти тут же радость ее исчезла, потому что так уж мы устроены. До той минуты, как я пришел в харчевню, выслушал ее и согласился помочь, она на меня надеялась и рассчитывала. Ей казалось – главное, чтоб согласился. А как только я согласился, ей вдруг подумалось, что я ведь, пожалуй, ничего не сумею. Или мало сумею. Я вместе с моим согласием

почти тут же в ее глазах обесценился, такое бывает.

– А что же это за *кое-что* было в моих жалобах? – спросила она.

– Не скажу.

– Почему?

– Так... Это уж мое. Можно считать – личное.

Она надула губы, будто бы обиделась, – но глаза ее не обиделись. И она продолжала говорить уже просто так, по инерции. Играя в игру.

– Я-то думала, что ты согласился потому, что все еще немного меня любишь.

Такой вот она взяла тон.

– Разве же я сказал, что не люблю?.. Я люблю, – ответил я тихо, но с некоторым нажимом. Чтобы попробовать лед. И чтобы слегка ее попугать. – Может быть, я только потому и согласился.

Вера вскинула глаза – самую чуть растерялась. Если бы я ее до сих пор любил, скажем, скрытно и про себя, это было бы много. Это было бы для нее ненужно много. Ни к чему. Тем более что это означало бы, что я отчасти псих. И значит – не очень-то надежен в порученном мне деле, могу все испортить.

Помолчали.

– Ну-ну. Не бойся... Извини, – рассмеялся я.

– Ты меня напугал.

Мы оба перевели дух и теперь заговорили спокойно. В ка-

фе было жарко. Пахло пригорающим жиром. Так как толк пошел про любовь и всякое такое, я (неожиданно для самого себя) осанисто повел плечами и сел прямее. Огляделся. Что там ни говори, а в кафе быть с Верой приятно. Она не так уж безоговорочно красива, но лакома, хороша. Тут уж ничего не скажешь. Из углов нет-нет и поглядывали, постреливали глазами мужики на нее. И на меня в связи с ней. Оценивали. И хорошо, что она сейчас не курила (в этой харчевне не разрешалось), – иначе бы мужикам думалось, что это не так уж недоступно – сидеть с ней вдвоем за столиком.

– Курить хочется. – Я сглотнул слюну.

– Потерпи.

И я потерпел. Мы сидели сейчас глаза в глаза; когда-то я любил Веру, а она меня, – роман не был длительным. И быть может, поэтому добро наше не расплескалось туда-сюда в мелочах и даже по памяти чувство осталось свежим и чего-то стоящим. Могло быть куда ординарнее... Так что, возможно, не мужики из углов, не их взгляды и скошенные на нас глаза создали настроение и энергетическое поле, а та любовь. Потому что любовь тоже создает задним числом свое поле, как и всякая память.

Так или иначе, видеть Веру было приятно. А когда мы уславливались о встрече в этой харчевне (я позвонил, и мы условились), мне было муторно и неловко, и я даже шейей чувствовал, что общаюсь с киношницей. А когда Вера с солнечной улыбкой (по телефону просвечивался каждый отте-

нок) сказала, что, стало быть, мы встречаемся в угловом кафе, совсем как у Антониони, меня едва не стошнило. Я скоренько попросился, бросил трубку и минуту-две сидел с укусной мордой. Она так и сказала. Как у Антониони.

* * *

То, что Вера на ножах со Старохатовым, я знал и раньше. По слухам, распря продолжалась. Но я думал, что это будни, чепуха, семечки, то известное и столь распространенное сейчас состояние динамического равновесия, когда ты и в атаке, и в защите, и обижаешься, и огрызаешься, а в общем, – а в общем работаете бок о бок и все хорошо. Жизнь как жизнь. И зарплата тоже идет, как и положено идти зарплате. Старохатов и Вера; а в переводе это значило – директор и маленький администратор; можно даже – директор и маленький человек. Такое вот противостояние, если только слово «противостояние» не звучит совсем уж насмешкой, а у них насмешкой оно не звучало.

Граф был велик. Он был именит, влиятелен и даже популярен – он был Старохатов. Вера была никто. В разговоре я мог бы поболтать об их распре, посудачить, мог бы и позлословить, но уж никак не влезать и не участвовать в этом. Теперь получалось, что я влез. Пообещал влезть.

В Сценарной Мастерской, во время о€но, я был дружен с Колей Оконниковым – Оконников был один из немногих

наших, из кого в кино что-то вышло, и вышло неплохо. А когда-то Коля написал первый сценарий совместно со Старохатовым. Фильм тогда был поганенький, дохленький, но все же фильм. Я его видел: и афиши видел, и саму ленту. И вот у Веры вдруг появилось запоздалое подозрение, что Старохатов свое соавторство Коле в тот раз навязал... Нет, она знала это не точно. Не наверняка. Но когда-то она видела тот сценарий на столе у одного режиссера. Нет, читать не читала. Но заметила, что на титульном листе была лишь одна авторская фамилия – Оконников. И что же?.. А то, что сценарий, стало быть, существовал сам по себе, а Старохатов навязал ему свою фамилию позже.

– Зачем тебе все это надо? – спросил я (мы сидели с ней в харчевне, и разговор только-только начинался).

– Как зачем? Он же ограбил Колю!

– Ах-ах! – сказал я.

– Что? Разве не ограбил?..

– Вера, – я засмеялся, – мне таких слов ты не говори, ладно? Я ведь нюхнул кино. Самую малость нюхнул, но мне хватило.

– И напрасно.

Тут же с пафосом она сказала – ведь я справедливый мужик. И неужели же такой факт меня не возмущает?

Я подумал, прислушался к себе. Вспомнил об успехах Коли Оконникова. И сказал:

– Нет. Не возмущает.

– Но почему?..

Она завела вечную песенку всех маленьких честных администраторов – жалобную песенку. Дескать, так уж, видно, создан мир: чем лучше и чище человек (имелся в виду конечно же я), тем меньше он жаждет бороться с грязью. Дескать, эти-то лучшие и чистые – они только и умеют умывать руки и отсиживаться. Равнодушие, дескать. Пассивность. Ну, и так далее – все то, что говорится в подобных случаях... Но я такие наживки в своей жизни встречал. Я не клюнул. Я даже рассердился на Веру: уж не хочет ли она, чтоб сторонние люди чистили их конюшни? Или мне делать больше нечего?.. Или, может, я за эти годы стал похож лицом на дебила – неужели она всерьез рассчитывала и думала, что я соглашусь?

Она сказала:

– Нет – значит, нет... И хватит об этом.

Помолчали.

– Можно вопрос?

– Спрашивай, – сказала она унылым голосом. Сидела, сложив руки на коленях. Вид отсутствующий. Милая и симпатичная женщина, а занималась столь склочным делом – на нее мужчины глазают, вино на столах, лето жаркое на исходе, и ведь не так уж много нам этих жарких лет осталось.

– Хочу спросить. Интересуюсь... Тебе хочется, чтобы я узнал у Коли, обобрал ли его Старохатов?

– Да.

– Тебе это очень нужно?

– Да.

– Хочу спросить – тебе это нужно, чтобы восстановить некую справедливость? Или чтобы сделать пакость Старохатову? – И я засмеялся.

– Почему ты смеешься?

– Разве нельзя посмеяться?

Она помолчала. Подумала. Потом сказала:

– Мне, Игорь, не нужно ни то, ни другое.

– То есть?

– Мне нужно... хорошо... Я расскажу.

Оказалось вот что: у них в Мастерской побывала комиссия из Госкомитета; в присутствии этих важных птиц Старохатов и Вера сцепились («...и кто меня потянул за язык? Я, наверное, Игорь, схожу с ума»). Был крик, и была брань. То есть это Вере поначалу казалось, что крик и брань, и что она со Старохатовым сцепилась, и что идет некая борьба, на самом же деле – нет. Ничего подобного. Старохатов попросту ругал ее за дисциплину в Мастерской. Старохатов сидел слишком высоко и с своего «высока» поучал ее, и ни о каком «сцепились», ни о какой борьбе не могло быть и речи. Скорее всего, Старохатов пощелкивал ее ногтем, как пощелкивают маленькую заводную игрушку, у которой отчего-то заело пружину.

Вера вдруг это поняла, то есть про заводную игрушку, потому что такое понимается именно вдруг. И сорвалась. Ни

с того ни с сего, по смутной памяти, ляпнула, что Старохатов нечестен, не чист на руку. В чем нечестен?.. А вот в чем. Он навязывает соавторство молодым и неоперившимся сценаристам. Обирает их.

И лучше б она молчала. «Наконец-то вы высказались», – негромко заметил Старохатов и улыбнулся. И даже отвечать не стал. И представитель Госкомитета тоже покачал головой: «Ай-ай, Вера Сергеевна! Надо же быть сдержаннее». А другой представитель побагровел и сказал, что сейчас разговор не тот и не о том. Но что за такие слова полагается отвечать и что вот они специально вызовут Веру («вызовут!»), и пусть она представит факты, если их имеет.

Это и пугало. Здание Госкомитета. Под крылом Госкомитета всё, начиная от громадины «Мосфильма» и кончая такими маленькими лавчонками, как Сценарные Мастерские, – и вот ее, Веру, тихого и малого человечка, вызовут туда, и какие-то дядьки будут спрашивать, грозить, выговаривать: «Какое же вы право имели бросаться словами?» Или: «Клевета есть клевета. Почему же вы, дорогая моя, клеветаете на человека?» Так что ей теперь не до жиру, ей хотелось иметь что-то себе в защиту. Не пакость Старохатову, а хоть что-то себе в оправдание. Вера боялась. Она до дрожи боялась, хотя и беспрерывно лезла сама на рожон: она вообще была трусиха. Это-то и характерно.

– Кому ты нужна? – сказал я. – Никто не станет тебя вызывать.

– Ты думаешь?

– Уверен.

С боязливостью в голосе она сказала:

– А вдруг?

Не такая уж она былиночка, стреляная пташка, – это, конечно, тоже мне пришло на ум. Пришло, но тут же ушло. И Вера осталась былиночкой на весь этот день, как ей и хотелось. Тихой и ломкой былиночкой, которой нужно помочь, коли уж подул ветер... Когда мы вышли из кафе, обоим и сразу же бросился в глаза скверик, подобие скверика.

– Ага? – спросил я.

– Ага.

Четыре клена и одна примитивная скамейка. И почему-то распиленное на поленья дерево. И несколько бревен слева. Погода была золотая – в воздухе плыл сентябрьский мед. Мимо спешили люди. На меня нашло: показалось, что все вокруг принадлежит Вере и мне – такая минута! – я сказал, что хорошо бы сейчас поехать за город. Подмосковье, бабье лето, белые грибы, обвалившаяся часовенка... Вера насто-рожилась. Ей мигом подумалось, что я забрасываю удочку на этот самый счет. Или, лучше сказать, на тот самый. Может быть, я и забрасывал удочку, потому что бывает, что забрасываешь и себя не знаешь. Но Вера тут же спросила: а как у меня с женой, говорят, она совсем молоденькая?.. Все хорошо, сказал я. Все нормально. В свою очередь я по инерции спросил, как у нее с мужем. Все хорошо, ответила она. Все

нормально. И тут мы оба засмеялись – пронесло.

– А сознайся, – сказал я, – ты ведь напугалась, когда я заговорил про бабье лето и часовенку?

– Ну вот еще!

– Напугалась.

– Да брось... Что нам-то с тобой ходить вокруг: если уж очень будет надо, договориться сумеем. Или нет? – Слова были отчеканены, и стало ясней ясного, что договариваться мы не станем, прошлое есть прошлое. А сейчас настоящее.

Словом, она вела разговор как хотела. Мы закурили по второй.

– Игорьь.

– Да.

– Скоро ли ты соберешься к Коле?

– Если обещал, значит, скоро. На днях. – И тут меня совсем проняло, голос дрогнул: – Вера... Ты не волнуйся. Сделаю. Сделаю. Все сделаю.

Я подумал заодно (и Вере не сказал об этом), что кроме обещанного я поразузнаю у Коли Оконникова о каком-нибудь греющем и теплом местечке. Надо ее пристроить и развести со Старохатовым: заключает бабенку. Ей там не жить. Есть ведь, к примеру, Сценарные курсы. Или курсы операторов. Или ВГИК с его факультетами и ответвлениями. (Я перебирал в памяти учреждения, где Коля Оконников мог иметь вес и влияние, – да мало ли мест и местечек, где нужен дельный администратор малого калибра. А Вера была имен-

но таким администратором – дельным. Всегда чистенькое и вывешенное расписание. Всегда спокойное взывание к дисциплине. Умение ладить с парнями, которые не ладят ни с кем. И так далее.)

Я еще раньше, когда сидели в кафе, о таком варианте подумал. Но мельком.

* * *

Все, а точнее – почти все, я выложил жене, и даже она, женщина двадцати четырех лет, сказала:

– Некрасивое дело. Не лезь в него.

Но сначала Аня произнесла это буднично, безлико. И я успокоился. Куда хуже, если б она сказала эту фразу тут же, в отклик, единым духом, потому что женскому чутью веришь невольно, особенно если оно касается какой-то «истории», в которую можно вляпаться. Обстановка для домашнего пророчества была самый раз. Жена кормила с ложечки нашу Машку – дочь сидела у нее на коленях. И вот рука с ложечкой тянулась к каше, подгребала, черпала и несла к детскому рту. Все было чрезвычайно размеренно. Туда и сюда. Как маятник. И если бы (а я рассказывал о Вере и ее просьбе) было хоть что-то настораживающее, хоть где-то, хоть за тридевять земель, рука с ложкой дрогнула бы. Или приостановилась. Или еще что-то. Но эта семейная кардиограмма была сейчас спокойной и ясной – рука с ложкой, полной каши,

двигалась с безупречной ровностью. И с той же ровностью голос Ани сказал:

– Некрасивое дело.

– Ну и что же, – ответил я. – Надо же помочь человеку.

Аня промолчала. Кормила Машку.

– Кроме того, – как бы в запас сказал я, – мне и самому любопытно, обирал Старохатов или нет.

– Так и скажи сразу, – усмехнулась Аня. – А то – помочь человеку! Помочь старому другу в беде!.. Слова-то какие!

– Чем тебе не нравятся слова?

– А тем, что если она твой старый друг, как ты говоришь, – и только тут ложечка с кашей дрогнула, отыграла секундное колебание и поползла дальше, – то почему она ни разу не пришла к нам в дом? Почему? – Аня набирала обороты. – Почему она ни разу не поинтересовалась, начал ли ходить твой переболевший ребенок!

– Да ты просто ревнуешь!

– Я?

– Конечно!.. Не роняй кашу.

– А почему у тебя оказываются хорошие друзья, которые живут почти рядом и о которых я ни словечка не слышала?

– А потому, моя рыбка, что ты знала, когда выходила замуж, что мне тридцать лет. Мне тридцать, а тебе двадцать. А если ты невнимательно прочла в паспорте мой год рождения, я сейчас же тебе его принесу.

И мы немного покричали. Такое у нас бывало. Но не все-

ррез.

А уже вечером следующего дня, словно бы в помощь, пришла Вера.

– Я с коньяком. По-киношному... Это ничего? – говорила она, стоя в дверях, и с улыбкой смотрела на мою молодую жену.

Я был на кухне, но чувствовал, что сейчас женщины обмениваются взглядами. Обе улыбались. Хотя жена стояла так, что я видел лишь ее затылок (на звонок открыла она), я твердо знал, что ее улыбка на месте. Вера была в элегантном брючном костюме. Аня в цветастом переднике с красной полосой вдоль всего овала. Вере – тридцать девять. Ане – двадцать четыре. Все было как бы расставлено и продумано свыше, и даже разница была в пятнадцать лет ровно. Не в четырнадцать и не в шестнадцать.

После некоторой утряски в психике (гость – ужин – угощать!) Аня сказала:

– Надо же приготовить... Я сейчас.

И, сжимая врученную бутылку, она отправилась на кухню. Вера за ней.

– Я вам помогу.

– Не надо. Что вы!

– У вас есть другой передник?

– Старенький.

– Вот и ладно... Давайте я его надену.

Пауза.

– Давайте, Анечка. Давайте старый передник.

Я взял Машку, усадил ее в коляску – и гулять. Был час прогулки. Потому что, как ни парадоксально, оставить женщин на кухне – это самое правильное и самое примиряющее. Вечер был тепл, я возил Машку вокруг дома и тихо надеялся, что женщин сплотит коллективный труд.

Так и оказалось.

– ...Ты всегда клади в салат больше помидоров, – учила Вера.

– Мне казалось, огурец ароматнее.

– Конечно, ароматнее. Но он сушит салат. А для запаха, поверь мне, достаточно одного-единственного огурчика.

В плане внекухонном они общались тоже легко и столь же легко. (Вера делала свое дело.)

– Он злобный, Анечка, – объясняла она. – Он злобный и злопамятный тип.

– А я-то думала: Старохатов!.. Такое имя. Такая популярность!

– Анечка, он обирает, он грабит ребят.

– Но, может быть, он дает вашим ребятам какие-то очень ценные советы?

– Может быть. Но за свои советы пусть берет вот эту бутылку коньяка. Пусть берет коньяк, пусть берет торт. Пусть берет красивые часы. Если уж не может не брать.

И после паузы сказала, помешивая ложкой в салатнице:

– Но пусть не берет у них половину денег. – И пояснила: –

Ты, Анечка, знаешь ли, сколько стоит сценарий? Нет?.. Я тебе скажу: вместе с потиражными это примерно десять тысяч.

– Новыми? – Аня ахнула. Мою молоденькую жену, мыкавшуюся в небольшой лаборатории завода, цифра с таким количеством нулей могла сбить с ног. Тут пасовали и не такие, как она. Тут надо быть хорошо закаленным. Но Аня лишь ахнула, она даже слюны не сглотнула, – простая душа.

– Новыми, Анечка... десять тысяч новыми – и половину их Старохатов забирает себе.

Я вставил:

– Это пока твое предположение.

– Ах, перестань!

– Ты, Вера, забегаешь сильно вперед.

– А вот съезди к Коле Оконникову и сам убедишься, забегаю я вперед или не забегаю.

И тут случился цирк – маленькое представление. Аня вдруг вздохнула. Горько так вздохнула и сказала:

– Я-то думаю, почему у нас кино становится все хуже и хуже. Совсем вырождается... А ведь это, наверное, потому, что в кино делают такие вот дела.

– Ну конечно.

И Вера подмигнула мне. Дескать, не мешай.

– Оказывается, вот почему в кино такая невыносимая скучища.

– Именно поэтому!

– И если Игорь поможет вывести его на чистую воду, то

заодно и фильмы станут получше.

– Ну конечно, Анечка. Именно так и будет – вот увидишь!

И Вера опять подмигнула. Дескать, твоя жена девочка еще молоденькая. И не разубеждай ее. Ты же видишь, как отлично с ней можно ладить.

Они сделали салат, разжарили котлеты и теперь готовили стол. Разговор продолжался. И скоро уже не осталось сомнений, что наше кино здорово шагнет вперед, как только я поймаю Старохатова за руку, – Аня и Вера говорили и об этом совершенно искренне. Даже радостно. Даже немножко взახлеб. Вера (если не считать тех двух подмаргиваний мне) очень серьезно, солидно и как-то даже ласково объясняла моей жене, что Добро должно бороться со Злом, а хорошие люди – с плохими.

Вот именно. Без пережима и воочию Вера показала мне, что двадцать четыре – это детскость, пушок, наив и что Вера и я, как старые друзья, можем общаться спокойно и без трений. И даже обмана в этом не будет: обман не нужен. Я-то боялся, что Аня поинтересуется прошлым, – я говорил ей, что в беде мой старый друг и что надо помочь человеку. Говорил, что человек унижен. И так далее. А всего-то и нужно было намекнуть, что подлец Старохатов портит наше отечественное кино и что, если его не изобличить, в кинотеатрах будут показывать бог знает какую чушь. А ведь и без того смотреть нечего.

Когда я провожал ее ночной улицей до метро, Вера сказала (а фонари нам светили по очереди – один, другой, третий, как и положено светить фонарям):

– Я мило скоротала себе вечер. У вас дома хорошо, честное слово... И тебе я развязала руки.

Это уже могло пройти без пояснений. Но она пояснила:

– Тебе не придется ничего ей сочинять. И если мы будем иногда видеться и болтать по телефону о нашем деле, она не станет думать лишнего. И не станет попрекать, что ты заводишь роман в нерабочее время.

– У меня, Вера, всякое время нерабочее. Практически я сижу дома. У меня дочка...

– Я забыла.

Она тихонько и истинно по-дружески стиснула мне пальцы. Я вел ее под руку.

– Ты можешь говорить ей правду и не вилять. Только говори попроще. Аня у тебя замечательная...

Она неназойливо учила меня семейной жизни. И я отметил, что если я за эти годы чего-то поднабрался, то и Вера не стояла на месте. Женщина в самой зрелости. Вечер был тихий. Фонари. Мы поцеловались. Я был размягчен коньяком, и вот мы срезали угол к тому людскому коловороту, который называется входом в метро. Вера заговорила. Сказа-

ла, что, женившись на молоденькой и наивной девочке, я и сам сумел как бы притормозить время и зацепиться на пяток лет в молодости. Помолодел и стал проще. И жена славная. Счастливичик, вздохнула она.

– Ты забыла про дочку.

– Пройдет...

Я возвращался. От ее визита, от этой, легко удавшейся дружбы Веры с Аней с моих плеч что-то спало, снялось, и возникло легкое и ясное (и теплое) ощущение под стать вечеру. Ясное и даже как бы триумфальное ощущение. Но самую чуть с горчинкой. Горчинка рядом была: казалось, что Вера, зрелая, опытная и натруженная жизнью, глянула сегодня мельком на мое простенькое и очень умеренное счастье. И что-то поняла. Но не сказала. Глянула – и ушла, смолчав.

* * *

Когда я вернулся, Аня (все еще в возбуждении) заявила мне, чтобы я не смел отлынивать от дела спасения киноискусства. Она-то ведь знает, что я лодырь. Обещать – одно, а оторвать свой зад от стула, и куда-то поехать, и что-то узнавать – это совсем другое.

– Вот послушай. – И Аня очень доходчиво разъяснила, что сначала немного сделаю я, Игорьь. А потом немного сделает другой, капля камень точит. А потом третий. А потом наше кино станет лучшим в мире. От всей этой ерунды у меня уже

звенело в голове. Но что было делать – мы сами ее заставили поверить. Аня стояла рядом со мной, лицо к лицу. Она была длинноногая, стройная и совсем юная.

– Да, – согласился я.

И опять:

– Да. Да.

Я мог подтрунивать над моей молоденькой и наивненькой Аней, но штука в том, что я ее любил и, любя, поддакивал. А когда поддакиваешь, понемногу начинаешь верить и сам, таков наш опыт. Так что мы оба выглядели комично.

* * *

– Слышишь? – Через дверь уже который день докатывался грохот, скрежет.

Соседи наши по лестничной клетке покупали мебель: то вносили шкаф, поспешая за кряхтящими грузчиками, то просто стояли у лифта и говорили друг другу, что торопиться некуда и что в таком деле важно быть внимательным. И даже их маленький сын, однажды стоя у лифта, ковырял пальцем стенку и повторял: «Мебель покупают не спеша...»

Мог быть рассказ о том, как некий писатель или, скажем, сценарист живет своей жизнью, не смешиваясь с окружающей средой и суетой, – он пишет повесть за повестью, он трудолюбив – он вглядывается в людей, всматривается, а они все покупают и покупают мебель, машины, дачи. И ничего в

них больше не разглядеть, как ни всматривайся в них и как ни портретируй.

Глава 4

Но приступить сразу к спасению нашего кино я не смог: Коли Оконникова дома не было. Он отбыл куда-то к родственникам – за антоновкой. Так сказала Колина жена. Не приехал. Нет, не приехал. Нет, еще не приехал... И в конце концов она объяснила, что, если я не псих, я должен оставить свой номер телефона и не мучить звонками. Дело в том, что у них очень громкие, оглушительные звонки.

– Вы подкрутите колесико, – посоветовал я, полный сострадания, но Колина жена не поняла – в их аппарате, вероятно, не имелось регулятора громкости: телефон старого образца. Она попросту решила, что я со сдвигом. Она крикнула, что будет гораздо лучше, если я подкручу свои собственные колесики, и бацнула трубкой.

Так я приехал в Мастерскую, чтобы сообщить Вере, что дело откладывается на неопределенный срок. И что не моя тут вина, я, собственно, и ехал, чтоб объясниться насчет *моей вины*, потому что по телефону такое не объясняется. Или объясняется плохо.

Я прибыл и сразу же – через дверь – услышал их голоса. *Старохатов*. Я вас предупредил. Дисциплина и дисциплина!..

Он распекал Веру, точь-в-точь как распекал пять лет назад. Их словно законсервировали вместе с их голосами... Ве-

ра откликалась однообразно и с чуть слышимой обидой.

Вера. Хорошо, Павел Леонидович.

Старохатов. Посещение занятий – как закон!

Вера. Хорошо, Павел Леонидович.

Старохатов. И никакой сердобольности. Только бюллетень – оправдание их отсутствия.

Вера. Хорошо...

Старохатов. И чтоб печать на бюллетене была так же заметна, как их громадные попугайские галстуки...

Я не вошел к ним, я развернулся и уже уходил от этой памятной мне двери: пусть они доспорят... Я спустился в буфет, чтобы выждать, – в буфете тоже без перемен. Если не считать необычной и как бы абсолютной тишины. Да, было тихо. Если бы не тишина, я мог бы считать, что вернулся в прошлое.

– Чашечку кофе. (И покурю!)

– Сию минуту. – Буфетчица была незнакомая, новая. И ни души возле ее боевого места – тихо.

Удовлетворив желудок и совсем присмирив, я отправился в холл, пристроился в кресле и – один в тишине и прохладе – мог теперь не спеша чувствовать то, что чувствует человек, вернувшись в забытые свои дни. То, да не то. Раньше здесь был Дом кино, с шумом, суетой, с этакой нервозностью вечного праздника, если не вечного парада-алле. В Доме кино – в огромном его чреве – существовал в те времена и бился за жизнь десяток мелких, связанных с кино, организаций-до-

весков. Это задавало ритм. Это будоражило, пьянило. В буфет, как говорилось тогда, только с ломом. Не пробиться. А вездесущие чашечки с кофе передавались из рук в руки через головы...

Но бал кончился, потому что кончаются и не такие балы. Дом кино переехал в новое здание, а с ним и сателлиты, которые роятся только возле живого и теплого, так уж они придуманы. Остались лишь две или три Сценарные Мастерские, а состав Мастерской невелик. Это Старохатов (руководитель). Это Вера Сергеевна (административный работник). Плюс машинистка. Ну, и десятка полтора слушателей. На весь огромный и опустевший Дом это было мало. Это было ничто. Ноль. И потому в тишине, в пустоте, в прохладе – я мог заодно чувствовать то, что чувствует человек, оказавшийся на вымершем и обезлюдевшем месте. На развалинах, это уж если с пережимом. Среди руин, хотя руин не было. Из верхнего окна разлет двух или трех прямых лучей (в них задумчиво, как миры, плавали пылинки) дополнял картину. Лучи были желтоваты.

Звонок – и во мне екнуло.

Появились слушатели, человек восемь. В пустынном и громадном холле они выглядели оробевшими. Или озябшими. Как в музее, в котором обязательно поверх обуви надевать шлепанцы. Казалось, что на них только что и круто прикрикнули, хотя на них не прикрикнул никто. Знакомых мне лиц не было. Да и с какой стати?

Ни голоса. Только ровное шорох-шуршанье большелопастного вентилятора, который запрятали где-то под самой крышей, чтобы он там, не видный глазу и вечный, вкалывал и вкалывал, подавая прохладу. Ага! Вот и знакомые. Появились Старохатов и два более или менее известных режиссера. Старохатов выступал свежо и бодро – величественная седая голова откинута чуть назад. Без перемен. Таких не берет и время.

Все трое сели за столик – Старохатов нога на ногу, и тут же раздался его смех, удивительно располагающий, дружеский, чуть-чуть с коньяком, но и с большим запасом надежности, – такой вот многогранный смех. Они сидели недалеко от меня. Но не рядом. Я запомнил одну реплику.

– Ну, а когда... ну, а когда же выстрелило ружье? – спросил Старохатов, и все трое засмеялись.

Вероятно, о только что увиденном фильме. (Не просто же так...) И стайка слушателей тут же смекнула, что это не просто так и что мешать разговору мэтров не следует. Стайка распалась. Слушатели разбрелись, потому что это перерыв и куда-то надо себя деть на десять минут. Они переминались с правой ноги на левую возле стен, возле портретов знаменитостей кино и четко выписанных афоризмов. Не дышали. Понимали, куда они попали и кому сподобились. Сопричистились.

– Спасибо, Валечка, – это мэтрам принесли по капле коньяку, и Старохатов благодарил.

Валечка сгрузила со своего подноса три влажные и сочные рюмки. Валечка улыбалась. Валечка приветливо шурилась. Но лицо у нее было сонное и мятое, будто на ней всю ночь возили дрова без подмены. Гляди она посвежее, один из молодых творцов, осмелев, тоже попросил бы, например, кофе сюда, в холл. Он уже перегнулся через столик, чтоб сказать ей насчет кофе. Но тут же подался назад. Испугался отпора, такое у нее было личико. Не рискнул.

Прозвенел звонок: пора!.. Горсточка слушателей собралась вместе – как на ленте, которую прокручивают с конца, – щуплые фигурки одна за одной стали втягиваться и всасываться в лекционную комнату, где им сейчас расскажут, как это нехорошо – изображать в кино постельные сцены. Все ушли. Осталась лишь тройка мэтров. И (за столиком поодаль) тройка юных творцов. Появилась вмиг Вера – приблизилась к юным творцам и зашептала:

– Разве вы не слышали звонка? Немедленно идите на лекцию. (Слов я не разобрал, но суть была ясной.)

Вера шептала им. Вера сердилась. Просила их. Ей ведь только-только сделали накачку на предмет дисциплины.

– Ребята, я вас очень прошу: идите.

И еще:

– Лектор уже там – ждет. Ну, Сережик! Ну, подымайся же...

Все это говорилось вполголоса, помимо мэтров. Дескать, дело наше и внутреннее, свой сор в избе. Юные творцы и

ухом не повели. А Вера наклонялась то к одному, то к другому, потому что прекрасно знала, что они не столько хамоваты, сколько позируют, и что тут нужно не мытьем, а катаньем. Такая работа. За это ей платят деньги.

Но Сережики будто не слышали. Сидели себе сиднем – и все дела. Понимали, что, раз уж Старохатов на происходящее не реагирует, стало быть, слегка их поощряет. То, что Старохатов Веру не любит, тайной, конечно, не было.

Наконец Старохатов повернул к ним величественную седую голову.

– Вера Сергеевна, мы же не в пьесе Гоголя, голубушка. – И он улыбнулся. – Если ребята не идут на лекцию, значит, я просил их об этом.

Юные творцы победно переглянулись. Все это были отборные ребятки.

Старохатов довел драматургию эпизода до точки.

– Ребята, пересаживайтесь к нам, к нашему разговору. – Он опять улыбнулся. – Иначе действительно *может показаться*, что вы прогуливаете.

Ребята тут же переселились за столик к Старохатову и режиссерам, а Вера лишний раз должна была почувствовать свое место. Оказывается, он сам пригласил их на совместную беседу. Он просто *забыл* сообщить Вере об этом.

Но Вера была Вера, – потратив столько времени и слов на бесполезное упрашивание, она не слишком обиделась. Она взяла себя в руки. И выдала ему, Старохатову:

– Лектору заплачены деньги. Не ваши и не мои – государственные.

И ушла.

И плевать она хотела. Видно, так уж они жили со Старохатовым – поцапаться было для них делом ежедневным и обычным.

Вера пересекла холл почти по диагонали – кратчайшим путем. Она была в серой юбке и в розовой, очень строгой кофточке. И прическа строгая. И шаг сдержанный, ровный – все под осень. Я двинулся за ней. Я не спешил, потому что деться теперь ей было некуда и я наверняка знал, что застаю ее одну. На лекцию она лишь заглянет, пересчитает слушателей – и вернулась.

Я не спешил. Поднимаясь по лестнице, я застрял у окна и уставился на те же липы, что и пять лет назад. Липы были как липы. А думал я о том, что сцену, которую только что увидел, я увидел глазами сторонника Веры. Увидел, находясь в ее лагере. И что в будущем я могу быть не прав, более того – буду не прав, если сейчас же не почешусь и не задумаюсь об этом. Факт был значащий. Знаменательный. И вот (надо отдать мне должное) я попытался мысленно переметнуться к противнику. Я сказал себе – Старохатов творческий человек. Великий ли, малый ли, но он как раз из тех самых, кто подбрасывает в печь дровишки, чтобы они горели и грели. И этим он живет, пусть даже с возрастом там осталась одна-единственная черная головешка и сизый дым. Мастер-

ская для него последний (под старость) род деятельности. Он хочет жить спокойно. И можно себе представить, какой заусеницей, каким раздражающим чирьем оборачивается для него ежедневная и занудливая самостоятельность Веры. Она ведь тоже овощ. Она умеет...

Я оглянулся – по лестнице спускалась та самая официантка. Заезженная, с печатью ночных подвигов на лице.

– Привет, Игорек!

– Привет. – Я ее наконец узнал – ну конечно же Валечка. Она работала здесь и раньше.

– А я кооператив строю, – объявила она и засияла.

– Да ну?

– Честно!

– И деньги внесла? И уже квартиру видела? – спрашивал я.

Несмотря на упадочническую внешность, Валечка была переполнена самым задорным оптимизмом. Строила гнездо. На ее помятом лице бушевал восторг.

– И квартира есть, и Петька, и работа тихая – видал красоту, а?.. Живем!

Она подбросила двухкопеечную (шла звонить) и подмигнула:

– Пока!

Я поднялся наверх, но Веры там не нашел. Я оглянулся – Вера шла навстречу; она тут же на меня набросилась:

– ...Видела, видела – ты сидел в углу, когда я загоняла

этих болванов на лекцию.

– Здравствуй прежде всего.

– Здравствуй. И побереги свою вежливость для семьи.

Для домашних.

– Почему?

– Им нужнее.

Вера нервничала. Она знала, что я видел и уж конечно понял ту сцену, где ей дали щелчка. И не хотела сейчас выглядеть несчастенькой.

– Ну что Оконников? – спросила она.

– Нет его.

– Как нет?

– В городе его нет – уехал. Я много раз звонил им домой.

Придется отложить, ничего не поделаешь. – И я изобразил на лице то, что изображают в подобных случаях.

Я начал (с чувством вины, хотя никакой вины за мной не было) рассказывать о жене Коли Оконникова, о моих звонках и о колесике, которое я так участливо советовал подкрутить. В общем, я оправдывался, так вышло. И лишь случайно я упомянул об антоновских яблоках, то есть о том, что Коля отбыл за ними.

– За яблоками? К родне? – тут же переспросила Вера. –

Тогда я найду адрес.

– Чей адрес?

– Его родственников.

– Замечательно – а мне их разыскивать?

– Я уверена – ты их найдешь! Ты их легко найдешь!

Она засуетилась:

– Адрес сейчас же отыщу. Прошлой осенью Коля тоже уезжал. Он оставлял адрес, на случай, если его хватятся на киностудии...

Я хотел ей заметить, что Коля, судя по всему, уехал на неделю, не больше. И уж неделю-то наше дело терпит. Но я не сказал ей – не посмел сказать. Такое у нее стояло в глазах ожидание.

– Ты еще немного поскучаешь здесь, да, Игорь? А я пороюсь в своих книжках и принесу тебе адрес?

Я понял (и мудрено было не понять), что, если я сейчас же не возражу и не откажусь, мне придется бог знает куда тащиться (ехать, сидеть в вагоне) и разыскивать Колю. Я уже открыл рот, чтобы отказаться. Открыл – и опять закрыл.

Опять пришлось сидеть в прохладном пустынном холле и ждать – теперь я ждал адреса. И уже существовало, жарилось под солнцем некое конкретное место в Подмосковье, куда я потащусь и поеду, вовсе того не желая. Так всегда. У тебя вырывается «а», и тут же набегают желающие, чтоб заставить тебя сказать «б», – и однажды, рано или поздно, ты смекнешь, что алфавит длинен, что людей много и что просьб еще больше. А пока не смекнул, сиди и жди.

В этот раз я уселся в кресло под какими-то ядовито-зелеными картинами, выставленными на обозрение. Выставке здесь было самое место. Ни души. Слева я видел пасущее-

ся стадо и сочную деревеньку на заднем плане. На картине справа тоже была деревенька. И мордатый бык, который глядел молодцом и внушал трепет.

Если от середины холла сместиться на несколько шагов к входу, можно было бы отметить и очертить, например, мелом площадку 3x3, в метрах. Там мы впервые столкнулись. Я шел тогда быстрым шагом и столкнулся с рыжей машинисткой и Верой. Машинистка сказала:

– Если вы поступите (то есть если мне удастся поступить в Мастерскую), это ваш будущий администратор. Знакомьтесь.

– Игорь, – сказал я, – и руку вперед, не чинясь, кто второй и кто первый.

– Вера Сергеевна.

Она была та самая: робкая, милая и пухленькая (Алла, Анята или Ангелина). И я подумал: а хорошо бы! – и, видимо, так думал почти каждый из нас, в чьих взвинченных мозгах гнездились тогда одно – поступить! поступить! поступить в Сценарную Мастерскую, а там будь что будет!.. И еще. Я тогда же хоть и мимоходом, но успел подумать, что Вера Сергеевна из тех женщин, робких, милых и пухленьких, которые не сами для себя выбирают и для которых всё или почти всё решает случай. Кому повезет, тому и повезет, я и знать не знал, что повезет мне.

Вера пришла в зыбучий мир кино из школы – из самой обычной московской школы. Там она преподавала литерату-

ру. Там она ходила из класса в класс. Образ Наташи Ростовской. Лишние люди в изображении Тургенева. И так далее. И, само собой, Вера там обожали все – от учеников шестого класса и до директрисы включительно. И не только потому, что она была милая, славная и пухленькая и могла трогательно прочесть письмо Татьяны к Онегину. Она устраивала, например, посещения выставки пейзажистов. Она устраивала встречи с кинорежиссерами. Она звонила, хлопотала, отбирала лучшие сочинения десятиклассников и куда-то бегала, чтоб их показать и отметить наградой. Короче, жила этим. Дышала этим.

Вера пришла в Мастерскую, потому что ее пригласили. Ей сказали: Вера Сергеевна, *это то самое, это для вас*. Хватит вам возиться со школьниками. Она согласилась. Она появилась на том пяточке 3x3, в метрах, который я мысленно очертил мелом. Конечно, здесь, как и в школе, тоже пришлось следить за дисциплиной. Зато теперь она звонила и приглашала прийти на встречу таких режиссеров, писателей и художников, о которых раньше не могла бы и помыслить. Более того: вызовы, звонки и устраивание встреч с «именитыми» стали основным ее делом – не самодеятельностью, а правом администратора по учебному процессу. А лучшие итальянские, скажем, фильмы привозились точь-в-точь к часу, который назначала она, Вера Сергеевна. А известные пейзажисты соглашались даже оставить здесь на месяц-два свои деревеньки и своих бычков. А известные писатели, подолгу

откашливаясь, говорили голубушке Вере Сергеевне, что они малость того – робеют. И за пять минут до встречи со слушателями она писателя успокаивала, подавала стакан воды... Вот именно. Вера жила в облаках – она как бы жила в цветном и красочном сне, который почему-то затянулся. Те, кто ее сюда звал, сказали правду: это было то самое.

Тогда же Вера завела четыре голубенькие записные книжки с алфавитом. *Кино – изо – литература – театр*, как раз четыре, так ей было удобнее. Для театра при тогдашнем его состоянии иметь целую голубенькую книжицу было слишком жирно (не по чину берешь), поэтому туда же входила *музыка*. Я помнил эти четыре книжицы совсем чистенькими. Как начало начал. Но теперь от фамилий именитых и известных людей страницы стали сплошь темными, и там не нашлось бы просвета даже для почтовой марки. Почерк был сменен на более мелкий. Адреса. Телефоны. Адреса. Телефоны. Каждая книжица кишела цифрами и гляделась, как глядится муравьиная куча в час пик. И вот сейчас Вера рылась в одной из них – *кино* – и выискивала адрес родственников Коли Оконникова.

* * *

Появившись в Сценарной Мастерской, Вера жила себе и жила в облаках, и не было мягче места. Пока не упала оттуда. Как падают рано или поздно все, кто в облаках живет.

Сначала она услышала телефонный разговор – услышала нечаянно. Как бы подслушала.

Нет, сначала она порядка ради заглянула в аудиторию, где мы в этот час встречались с известным кинодеятелем, – посмотрела, все ли мы на месте и нет ли кого под мухой. Поизучав наши лица и галстуки, она удалилась. И вот – поднялась к себе наверх. А Старохатов – в дальней, своей, директорской комнате – говорил по телефону. Вера была от него через стенку. Или даже через приоткрытую дверь. Самое, конечно, поразительное то, что она не приняла услышанное на свой счет.

Старохатов рокотал. Глубокий и красивый голос.

– Ну, разумеется, я тебя встречу, – говорил он кому-то. – А если я все же задержусь, ты меня подождешь. Здесь тебя преотлично развлекут.

– Кто? (Предполагаемая реплика его телефонного собеседника.)

– Она и кофе тебя угостит.

– Кстати, как она? Ты ведь взял новенькую?

– То, что надо. Мила. Глупа. От слова «искусство» у нее начинают трястись колени: иногда боюсь, что бедняжка расплачется. Впрочем, очень и очень славненькая.

– (?)

– Ну что ты!

– (?)

– Зачем мне это надо. Я и без того ей рад... Свежий, на-

ивный, доверяющий мне человек – что еще нужно? После той собаки, которую я выгнал...

– И которая так больно кусалась (?..)

– ...я со своей новенькой просто счастлив. Я для нее бог. Я ей говорю: такой-то, кажется, талантлив. Она говорит: *да-да-да, он даже Хемингуэя читал*. Я говорю: а такой-то бездарен. Она тут же: *да-да-да, он даже занятия пропускает*... Ну разве она не прелесть?

– Поздравляю.

– Спасибо. В конце концов, я человек, хорошо в жизни потрудившийся. И чего-то стоящий. И на подходе к шестидесяти годам желаю жить спокойно.

Потом долго говорил собеседник Старохатова. Жаловался на кого-то из своих учеников. Слезно жаловался:

– (??..??..)

– Дам тебе на будущее совет, – сказал Старохатов. – Я в таких случаях имею в запасе ход конем.

– (?)

– В этом году, например, я принял одного подсадного. Нет-нет, не шептуна, я стукачей не терплю... Я принял в Мастерскую одного явно бездарного – маленький, плюгавенький человечек с очень подходящей фамилией Тузиков. Кажется, он оленивод, не то манси, не то ханты. Что-то в этом роде... Я принял его с тем, чтобы в середине учебы выгнать за творческую неспособность.

– Но зачем?

– А затем, чтобы не появился такой хам, какой появился у тебя.

– Не понимаю.

– Вот слушай. Как только у меня прорежется новоявленный гений и как только этот Ван Гог начнет орать про великое искусство и валить буфетчиц прямо в буфете, я его тут же спишу вместе с недоделанным оленеводом. Вдвоем их выгнать проще простого. Особенно когда один откровенно бездарный.

– Любопытно...

– Опыт, мой дорогой. Это и называется – опыт... Имея на руках такого оленевода, я совершенно спокоен.

– А мне? Что делать теперь мне?

– Не знаю, мой дорогой. Теперь уж нянькайся с ним. Выгнать будет трудно: если его отчислить именно за «гениальные» выходки, обязательно кто-нибудь вступится. И именитые. И любой демагог...

Они обменивались опытом.

Вера вошла к нему – она показала приготовленное расписание на следующий месяц. Спросила:

– Можно вывешивать, Павел Леонидович?

– Конечно, Вера Сергеевна... Конечно! – И Старохатов улыбнулся ей, на секунду оторвавшись от телефонной трубки.

Вера отправилась с огромным белым листом в коридор. Ей и в голову не пришло отнести первую половину услы-

шанного на свой счет. Более того: она подумала, что бывают же такие глупенькие женщины, которые только поддакивают Павлу Леонидовичу и мнения собственного совсем не имеют.

* * *

Второй услышанный разговор она тоже не отнесла куда надо. И, вероятно, десяток разговоров еще. А они были, эти разговоры, потому что Старохатов мало заботился, слышат его со стороны или не слышат. Такой уж был человек. С размахом. А комнаты как-никак были рядом.

– Приезжайте, – услышала Вера во второй раз. – Приезжайте, – приглашал кого-то Старохатов по телефону. – Цветы?.. Не надо, это лишнее.

– (?..)

– Нет-нет, никаких цветов. А то вы ее разбалууете... Лучше скажите ей два-три слова про искусство. Она будет на седьмом небе... Мне иногда кажется, что она конспектирует всю ту чушь, которую мы молотим.

– (?..)

– Ха-ха-ха-ха... Нет-нет, я думаю, она попросту хочет сохранить наши слова для потомков. А может быть, надеется продать мемуаристам.

Старохатов шутил и смеялся. Вера сидела в соседней комнате и не догадывалась, о ком речь. Такая вот пелена в гла-

зах, и это бывает, со всяким бывает. У Веры уже сложился некий образ – образ женщины, знакомой Старохатова, которая обитает где-то здесь же, в Доме кино, которая наивна, глупа, влюблена в слово «искусство», и Вера иной раз гадала – интересно, кто же это?..

Почти год понадобился, чтобы Вера прозрела и упала с облаков. И опять это был телефонный разговор Старохатова. Может быть, сотый, если считать: количество перешло в качество.

– Я собираюсь от нее избавиться, – откровенничал Старохатов с кем-то.

– Почему?

– Уже пора...

Разговор был чрезвычайно короткий – обрывок разговора, залетевший каким-то образом в ухо. Вера даже не входила в свою комнату. Она попросту шла мимо. И услышала. И чем короче была вспышка, тем рельефнее и резче увиделись все предметы вокруг – как в грозу ночью.

– Ты же меня знаешь, – говорил Старохатов, – я не могу себя переделать. Человек мне нравится – приятен – симпатичен, а потом раз – и надоел!

– (?..)

– Поверь: я стараюсь терпеть, но я уже не в силах ее слушать... Она глупа. Она непроходимо глупа.

– И все же тебе придется ее терпеть (?..)

– Ничуть не бывало. Очень скоро от нее избавлюсь.

– Каким образом?

– У нее наклевывается роман со слушателем. Как только у них зайдет далеко, я ее прогоню. Нет-нет, разумеется, без шума. Боже избави... Тактично и тихо.

Вера онемела – машинально шла куда-то по коридору, а потом вниз, вниз, вниз. И к автобусу. Дело было не только в том, что ее, оказывается, собирались уволнять. И не в том, что упомянули и, значит, знали о ее романе со слушателем. Тут был именно разряд, вспышка, в которую спрессовались все прошлые разговоры о глупенькой женщине, – да, да, на этот раз в цель попали.

Вера пришла домой. И сама не заметила, как пришла, шаг за шагом. Лучше б ей сразу знать, что над ней подсмеиваются, – ничего сверхъядовитого в словах Старохатова не было, и она бы привыкла, как привыкают многие. Потому что над такими, как она, можно шутить, можно и насмешничать, можно заставлять их работать в две смены, можно на них ездить и можно погонять, можно почти все. Нельзя только одного – неожиданно тыкать их в больное. Хотя бы без умысла, хотя бы и нечаянно, все равно нельзя. Потому что такие, как она, и сами не знают, что у них есть это больное. Пока их не ткнут, они не знают. Живут себе – и счастливы.

На работу Вера не вышла. Она проболела десять дней, с температурой, с головными болями – все как и положено. Болезнь как болезнь. А когда вышла – это уже была другая женщина. Строгая прическа. Строгая одежда. Строгая речь.

И уже наполовину совершился тот переход от милой, наивной, пухленькой женщины (Алла, Анюта, Ангелина) к той Вере Сергеевне, сдержанной, подлакированной в мире кино, собранной и деловой и – ненавидящей Старохатова. Наполовину свершилось. Остальное доделало время.

* * *

Выгнать ее за «роман со слушателем» Старохатову не удалось – тут он дал промах. По той простой причине, что роман наш к этому времени уже закончился сам собой. То, что Старохатов принял за «наклевывание», было уже лишь отзвуками, отголосками, да и те были на излете. Он просчитался. Драматург до мозга костей, он ждал романа со старомодным глубоким дыханием. А роман был современен.

И все же Вере было лучше уйти. Потому что дни для нее наступили несладкие – повода для увольнения она не давала, но и сама уходить не уходила, а это уже было войной. Объявленной ему войной. Силы были слишком неравны. Вера была всего лишь Вера, была одна и держалась лишь на упрямстве и отчаянии маленького человека, который знает, что, кроме этого упрямства и отчаяния, у него ничего нет. А Старохатов был Старохатов. Он все мог и все умел. За последующие четыре года он вполне удовлетворил свой разгневанный (и очень удивленный поначалу!) дух. И теперь давал ей столько щелчков, сколько хотел, делая это вполсилы

и между прочим. На месяц-другой он вообще забывал о Вере и о распре, как забывают зимой о комарах и мошках. Он уже давно мог бы ее выгнать. Потому что за четыре года там и сям освобождалось немало мест, и это называлось бы не «выгнать», а, скажем, «перевести». Но он не выгонял.

Он хотел – и это был именно его почерк, небрежный и крупно-размашистый почерк Старохатова, – он хотел, чтоб она сама ушла. Чтоб сама дозрела. Чтоб сама поняла.

И вот я входил в их распрю, так сказать, под самый занавес. Я входил с холодком. Эти подслушанные его телефонные разговоры (в пересказе Веры – мы сидели с ней в кафе, на столе арбуз и две чашки кофе, как у киношников) меня, ей-богу же, не задели за живое. И оскорбительного в этих разговорах я не нашел. Что такое телефонный треп, знает всякий. А Старохатов был широкой натурой и вполне мог такие слова, как «глупышка», «выгоню» и подобные, нанизывать одно за одним просто так, от собственной широты и размашистости. Разговора ради.

И еще. С моей стороны тут оказалось не только желание помочь Вере.

Мы сидели с Верой в угловой харчевне – арбуз и две чашки кофе на столе. А за окном, я видел, копошилась ворона и долбала носом что бог пошлет. Вот именно: что послали ей случай и люди.

– Если б знать наверняка, – рассуждала Вера в ту минуту, – если б знать, обобрал он Колю или не обобрал.

Я смотрел в окно.

– А ты как думаешь – он обобрал? – спросила она.

– Не знаю.

– Ну, прикинь, подумай, предположи – нужны ему деньги?

– Кому они не нужны.

– Нет, Игорь, я не о том. Я понимаю. Но ведь уважаемый и известный человек – зачем ему обирать Колю?..

Вера рассуждала, предполагала, а я смотрел на ворону, которая долбала клювом здесь и там. Искала, что ли. Да, ворона искала. И тут будто бы искорка вспыхнула, сработал некий внутренний механизм, и во мне возникло оно самое – любопытство.

* * *

А потом я сидел в прохладе и пустоте бывшего Дома кино и ждал. Вера копалась в своих голубых книжицах и наконец отыскала адрес родичей Коли, к которым он поехал за ранней антоновкой, – она протянула мне аккуратный листочек бумаги:

– Вот.

Глава 5

В руках у меня был портфель, в портфеле две бутылки вина. Мы были дружны с Колей: в меру, конечно, как и все, что бывает с нами в уже не юном возрасте. Друзья в меру. Тем не менее я давно его не видел, и если уж я к нему ехал, то ехал как к другу. У какого-то занумерованного столба электричка присвистнула, дернула – по составу проползла судорога. Мои бутылки громыкнули, и люди вокруг заулыбались, потому что тайны портфеля больше не существовало, а это всегда греет сердце попутчиков.

За окнами проплывали озера.

В деревне я без труда отыскал богатую и видную избу его родичей, – я спросил, где Коля, и они сказали, что он в роще.

– Где?

– А вот там.

Он лежал на самой опушке, блаженствовал, кейфовал – руки под голову, глаза воткнул в небо, а рядом в пучках желтевшей травы валялись какие-то книжки. Коля был размо-рен лесом, вял, расслаблен, но его вполне хватило, чтобы обрадоваться и даже замахать руками. Портфель был со мной, одну бутылку решено было распить тут же. Закусывали спелым горохом – клин поля выходил прямо к опушке, как по заказу. Мы болтали, а солнце садилось; мы открыли и вторую бутылку, потому что лучшей минуты, чем закат, все равно

не жди.

Когда-то Коля Оконников кончал Институт архитектуры. И шесть лет работал по специальности, все честь честью. Потом увлекся кино. Закончил Мастерскую и теперь время от времени сочинял сценарии и бранил режиссеров, если фильмы получались серые. Это и называется – быть сценаристом. То есть тут обязательно кем-то сначала быть и что-то бросить. А потом увлечься кино. И бегать всюду со своими сценариями и бранить режиссеров. Это как бы даже не профессия. А образ жизни.

– Такая судьба! – говорил Коля. Рассказывал о себе.

Я спросил:

– А во ВГИКе?

– Что?

– Я слышал, ты там преподаешь.

– Очень мало. Рассказываю ребятишкам об архитектуре.

О живописи. О греческой скульптуре.

– Тебе интересно?

– Я это люблю...

Потом о себе рассказывал я. Потом он. Потом я. И так далее. Сначала Коля (новый Коля Оконников, узнаваемый заново) вырисовывался для меня человеком жалующимся и в какой-то мере разбросавшимся. Ни то ни се. Потому что, когда слушаешь, хочется поскорее навязать человеку какой-то смысл. Засунуть его в некий ящичек с известным названием. С ярлычком. Но очень скоро я понял, что приbedняется он

собеседника ради и что он ничуть не разбросался, а, пожалуй, даже счастлив и везуч. Он сидел на желтеющей траве, рассказывал, сыпал киношными новостями, слушал меня – и, чего доброго, в свою очередь навязывал мне смысл и ярлык.

И как раз поодаль прошла корова с погремушкой на шее – ее гнал пацаненок с льняными волосами. Был закат, и пацаненок был как ангел. Корова со звонком прошла совсем близко, обвела нас покорным коровьим оком, – а я спросил Колю, навесил ли он мне ярлык. Звонко, чтобы знать направление, в котором искать чужую душу. Как ищут загулявшуюся и задумавшуюся корову поздним вечером в сплошном тумане.

– Навесил, – тут же сказал, ответил Коля, – а как же без этого? Без этого мы не можем.

Мы посмеялись – давненько, дескать, не виделись, и потому все как бы заново. Вот тут Коля предложил открыть вторую бутылку. А я поддержал: конечно, Коля, она за этим сюда и приехала.

Между прочим я спросил:

– А как у тебя дома? Как жена?.. У тебя, говорят, не жена, а чудо!

«Чудо» – это у меня само собой сказалось, для смазки разговора. Для мягкости, что ли, душевной. На что обычно всякий клюет. И начинает о жене, о себе, о жизни.

Но Коля не клюнул:

– Смеешься?

Впрочем, говорить о женах мы не любили.

Каждому досталось что-то свое, и это всё, и точнее эту мысль не выразить. Моя не была «горластой», как у него. Моя была молоденькой и милой. Но зато она заставляла меня спасать наше кино.

Я вспомнил, зачем приехал. И спросил:

– Твои «Всадники» трудно сочинялись?

Это был тот самый сценарий – их, совместный.

– Фильм как фильм.

– Пейзажи у вас там великолепные... Скажи, Коля, это ведь Старохатов написал сценку, что у реки?

Он не ответил. Я переспросил:

– Старохатов?

Коля засмеялся:

– Зачем тебе это?

– А любопытно.

– Очень любопытно?

– Очень.

Но Коля отмахнулся:

– Это, Игорь, щепетильное дело... Тонкое. Эти дела все тонкие.

Мы вернулись в избу и поужинали там с его родичами.

Помню, что говорили мы об антоновке и о том, что она так славно сработана природой, что может легко храниться до самого января. Потом сидели в темноте, потому что под-

станция отключила свет. Поахали, посуетились, но мимо рта никто не пронес – зажгли свечу, тоненькую и затекшую. Лица были с тенями и с желтыми бликами. Кто-то встает – и тень его грандиозно вырастает и движется, заваливаясь громадой на бревенчатые стены.

Спать отправились на сеновал.

– Тебе удобно?

– Отлично! – сказал я из своего угла.

Я грыз сухую травинку и болтал о том, что я тоже мечтаю сделать со Старохатовым совместный сценарий фильма. Я так и выражался – мечтаю. Материал, дескать, у меня есть, но справиться трудно, а ведь Старохатов – это Старохатов. Большой драматург, что там ни говори. И ведь это как дар: чувство драматургии и умение построить сюжет. Или это есть в человеке, или этого нет. От бога.

Коля даже фыркнул:

– Ты это серьезно?

– А что?

– А то, что этот драматург от бога в нашем сценарии не написал ни одного слова. Впрочем, нет – как раз одно-единственное слово. Свою фамилию. В правом верхнем углу – знаешь, где это пишется?

– Знаю.

– Вот там он и написал.

– Не может быть.

– Клянусь!..

История вкратце выглядела так: сценарий зарубили на худсовете, предложили восемнадцать поправок, и Коля их сделал. И опять зарубили – одиннадцать поправок, и Коля их тоже сделал. Затем восемь поправок. Затем пять поправок. Дорога вроде бы поворачивала к удаче, но затем вдруг опять двенадцать поправок, опять в гору... И вот в один из гнусных дней, когда Коля погибал со своим сценарием и когда колебался, вернуться ли в милую сердцу архитектуру или, может, поджечь «Мосфильм», – вдруг звонок. Старохатов. Здоровается. Спрашивает, как дела. И не тят-ляп, а участливо спрашивает.

– А ты?

– Я все рассказал. Он все выслушал. Подумал. Посообразжал... А потом говорит, ладно, приезжай в гости.

– И что?

– И все.

– Как это все?

– А так – у него в гостях все и свершилось. За один вечер. Это было великолепно. Гениально, если хочешь.

– То есть?

– Граф спрашивает: кто в худсовете объединения? Я говорю: тот, тот, тот, – всех перечислил. Граф вдруг становится похож на счетную машину – в глазах забегали нолики и единички, щелк-щелк – и готово! Машина сработала. Он мне заявляет: убери, Коля, эту сцену и эту. И еще половину этой. Итого – две с половиной сцены. И я убрал.

– И что?

– На худсовете прошло как по маслу. Я же тебе говорю – счетная машина. Он знает, кому и что нравится. Вкусы знает. Вот тебе и вся его драматургия.

Мы помолчали. Осторожно выкурили по сигарете – я стряхивал пепел в какую-то банку и слушал непрерывные шорохи внизу сеновала.

– Что это там – мыши?

– Мыши.

* * *

Перед отъездом он сводил меня посмотреть развалины – бывшее имение князей таких-то. Там была сохранившаяся высокая стена старинной кладки. И тишина. И птички чирикали. Смотреть было не на что, колокольня по левому боку еще кое-как угадывалась, остальное – сплошные развалины. Но Коля захлебывался от восторга:

– Ты посмотри, какая это... какая... – У него перехватывало дыхание, не было слов, и он дергал меня за рукав, чтобы я наконец понял, какая это красота.

Я понял. Я даже что-то сказал. А ему было мало – он водил меня от стены к простенку, и в конце концов одна из этих старинных кладок едва меня не угробила. Раздался грохот. Эта штука обрушилась, как будто век за веком ждала женатого человека с ребенком и вот момент показался ей подхо-

дяди. Я успел отпрыгнуть, отскочить. Пыль осела. Я отряхивался. Коля продолжал рассказ о «красоте и пластичности» как ни в чем не бывало, и со стороны можно было бы подумать, что все в норме и что этот замшелый, старый дворец попросту вздохнул. (От усталости. Слишком долго стоял на земле.)

– ...Посмотри-ка теперь на форму окна. Вон того, самого крайнего... Да, – сказал он, тоже вздохнул, – разваливается. Надо снимать быстрее.

– Как – снимать?

– Кинокамерой, конечно. Для кино. Для фильма!

И он (что же тут неясного?) посмотрел на меня с большим недоумением. А я на него. И именно тут стал ясней ясного Коля. Он этим жил. Он стал рассказывать о своем новом замысле – использовать в кино эти величественные руины. Сюжет Коля сочинил совсем простенький. Кажется, пионеры что-то искали. Или потеряли что-то, – словом, какие-то походы и костры, горны и барабаны. И пусть фильм будет детский, пусть даже совсем детский, важно другое: на экране можно будет подать зрителю эту симфонию в пластике – дать ощущение архитектурного ансамбля, передать эту колокольную, рванувшуюся в небо, а с ней дух зодчих и дух века. Ах, если бы в цвете!.. Коля захлебывался от восторга. Для Коли было совершенно ясно, что развалины он только для того и нашел, чтоб теперь они воплотились на цветном экране, и пустяки, если во время съемок они придушат двух-трех ак-

трис и пьяненького помрежа. Главное – воплотиться на экране. Для потомков. Чтоб знали и видели. А точнее сказать, чтоб видели – и знали.

– Неужели тебе не ясно, что в сознании человека пластичность – это главное? – вздохнул Коля.

Я не нашел что ответить, – главное или не главное, кто знает.

– Неужели тебе не ясно? – И он смотрел на меня, как на проспавшего все на свете.

А потом мы пошли к электричке.

* * *

Я прибыл домой, поужинал и тут же позвонил Вере.

– Здравствуй, – ответила она; голос был невеселый.

– Что же ты не спрашиваешь, как улов?

Она спросила. Чуть-чуть преодолела вялость:

– Как улов?

– Есть кое-что. Попалась рыбка.

– Ну?

– Расскажу, когда увидимся. А почему ты какая-то стукнутая?.. Можно подумать, что я ездил и старался не для тебя.

Поколебавшись, стоит ли мне сообщать, она решила, что стоит, и сообщила, что болен муж. Что у него был сильнейший невралгический приступ. И что он два часа кряду стонал. Я помнил, что с ее мужем бывает такое. И в какой-то

мере понял ее вялость, если мне вообще было посильно Веру понять. Как ни говори, мы очень отделились. Чужие... Разговорный запас иссяк.

– Ну, пока, – помолчав и как бы посочувствовав, сказал я.

– Пока, Игорь. Мы созвонимся после.

Не помню, в какой момент я вдруг почувствовал просчет и промах, – ясность приходит своими путями.

Во-первых. Старохатов как-никак выбросил у него из сценария две с половиной сцены. И даже идиоту ясно, что это тоже доля в работе. Малая или большая – это сейчас не вопрос, это ведь неважно. И во-вторых. Представь себе, что после отсечения двух с половиной сцен (кстати, у хорошего скульптора только и дел, что отсекаать из глыбы лишнее), – представь на минуту, что происходит такой разговор. «Я вам очень благодарен, Павел Леонидович». – «Ну что ты, Коля! Пустяки». – «Нет-нет. Не пустяки... Павел Леонидович, прошу вас, хочу, чтобы вы стали моим соавтором». – «Серьезно?» – «Да». – «Ладно. Если ты, Коля, *очень* хочешь, я не откажусь и готов поработать с тобой над фильмом».

Оттенок их разговора мог быть именно таким. Или схожим. А теперь, разумеется, уже подзабылось, очень ли хотел этого соавторства Коля или не очень. То есть сам Коля подзабыл это. За давностью. И за широкой спиной нынешних собственных успехов. Такое нередко.

Дождавшись дня его возвращения, я позвонил, жена Коли Оконникова громко («голосисто») выкрикнула его имя, и Коля явился в эфир.

– Ну? – спросил я. – Привез семье антоновку?

– Привез.

– Но, Коля, – валял я дурака, – ведь нужно ее так хорошо пристроить, чтобы сохранилась до января.

– Пристроим на балконе. – Он по телефону басил. На мое предложение увидеться он ответил самым деловым голосом. Дом кино? Да, это подходит. Потому что как раз сегодня он будет в Доме кино. Да, встреча с художником картины. Да, ты будешь третьим. Нет, конечно, не помешаешь.

Я был вторым. Никакого художника не было.

– Для моей жены, – объяснял Коля, когда мы отвоевали себе столик и уже усаживались, – должна существовать некая важная причина. Если уж уходишь из дому, то по делу.

– Ревнует?

– Вовсе нет. Просто ей льстит. Позвонит кто-нибудь, она скажет – у Коли сегодня важная встреча. Да, деловая. С художником картины.

– И поэтому ты сочиняешь?

– Именно.

– Но когда ты вернешься, тебе придется ей что-то о ху-

дожнике рассказывать – или она не интересуется?

– Интересуется. Но я полагаюсь на экспромт. Это даже полезно. Развивает фантазию.

Коля Оконников в Доме кино (а мы пришли в новый Дом кино, сверкающий и людный, с шумом и гвалтом) был совсем не Коля Оконников на сеновале своих родичей. Он чеканил фразы, громко смеялся, много пил. Мы пили пиво. Я пил плохо, потому что не пилось (было прохладно) и потому что отвык за лето от того блаженного состояния, когда ты не то споришь, не то пророчествуешь – и с каждой опустошаемой бутылкой и приконченной сигаретой некая голубая даль будто бы проясняется.

Я в основном слушал, и было это совсем не скучно, потому что Коля отменный говорун. Тем более что столики с пивом, кружева официанток, бедовый оркестрик и подсаживающиеся к нам личности, чтобы чокнуться во славу кино и самих себя, – все это после ночлегов на сеновале было и ему и мне как бы вновь, как бы впервые, на свежачка. А личности к нам подсаживались то и дело. Разные. С дальних столиков и с ближних. Подсаживались и уходили, а Коля рассказывал мне о пластичности в кино.

Подсевшая личность вдруг, ни с того ни с сего, спрашивала:

– Почему ты мне не веришь?

– Я верю каждому твоему слову, – чеканил Коля, – но будь добр, помолчи, ты же в пластичности ничего не пони-

маешь. – И Коля протягивал готовой взбунтоваться личности полнехонький стакан пива: – Пей, пей! – И улыбался. – Только не облейся. Сдуй пенку.

Я уже взял свое – тот их диалог о Старохатове был теперь ясен и очищен, как бывает очищен диалог в метро, когда шумно и гулко и когда люди берегут слова. «Я вам очень благодарен, Павел Леонидович». – «Пустяки, Коля». – «Это не пустяки». – «Перестань, Коля. Зажги-ка мне лучше спичку». И вот Коля чиркнул спичкой. Старохатов не курил, но, видно, захотел побаловаться. Спичка погасла, Коля тряхнул коробком и выудил вторую. «И пожалуйста, не спорьте, Павел Леонидович, я в долгу». – «А я и не спорю, Коля. Мы будем соавторами». – «Мы?.. Как?.. Почему?.. Ах, да... Ну конечно, ну, разумеется. Я, собственно, сам собирался вам предложить...» – и бедный автор заткнулся. И тут они оба начали, как сказал Коля, глотать. Глотать слюну запоздалого волнения. То есть когда само волнение уже позади, когда критический миг проскочили. Сначала нервно сглотнул Коля. Затем медленно и величаво перекатил свое адамово яблоко Граф.

Выяснил я это у Коли без труда. И сразу же. Чуть ли не на самых первых минутах встречи, будто я сам с собой на сегодня договорился не мешкать и не медлить. Так и получилось, я не мешкал и не медлил.

– Коля... Не дает мне покоя ваше совместное творчество.
– Со Старохатовым?

– Да. Какими-то словами вы сумели все же сговориться. Как это выглядело?.. Кто первый попробовал лед?

– Сейчас, – сказал Коля. Он устраивал кусок ветчины на хлеб. – Сейчас я тебе все выложу. Как на ладошке.

* * *

Теперь я спокойно сидел и слушал о пластическом изображении в киноискусстве. Цедил пиво и слушал. Возможно, он обобрал не только Колю. Возможно, что золотиносную жилку по имени *Старохатов* можно было бы покопать еще, поковырять и разработать, но с меня хватило. Я не добытчик. Не этим живу. И если уж играть в сравнения, я лишь побродил денек-другой по тайге, по забытым промыслам, чтоб ковырнуть самородок. Один. Ковырнуть и уйти, что я и сделал. Потому что теперь не оставалось сомнений, навязал Старохатов соавторство или нет: навязал.

– Я считаю, – говорил Коля, – что каждое здание или ансамбль зданий, каждая опушка леса и каждый человек, попадая на экран, должны быть счастливы...

Коля развивал тему, которую наметил еще в тех развалинах, где камнями меня чуть не придушило.

– ...счастливы, потому что воплотились! – наседал он на меня.

– Возможно.

– Ты пойми: все это сгниет. Мы помрем. Лес вырубят. А

на экране он все еще будет шуметь. Ронять тихо листья, а?

Секундная пауза – и новый взрыв страсти:

– Ты молчишь? Не согласен?.. Неужели тебя это не трогает?

Я слушал, но, видимо, некоего собеседнического накала во мне было недостаточно. И Коля мою вялость заметил.

– Ты что? Очень расстроился? – спросил он.

– Я?

– Конечно, ты! – он вдруг начал нажимать на слова.

– Ничуть не расстроился, – ответил я. – Просто новое место, новый Дом кино, я здесь еще не бывал. Отвык от шума. Отвык от пива.

– Нет, ты расстроен... Ты расстроен моим рассказом про Старохатова. Ты сидишь сейчас и думаешь, что он большой драматург и вместе с тем большой подлец... Тебе за кино обидно, за искусство обидно. А ведь он даже не подлец. Он просто обирала. Самый обычный. С обычными для обирал штучками.

– Успокойся...

– Он и Женьку Бельмастого обобрал – в свой час и в свое время. Я думаю, и Павлушку Шурикова.

– Обобрал Женьку?

– Да... Я же тебе говорю – обычный обирала.

И тут только до меня дошло.

– Коля... Я равнодушен к кино. Это тебе обидно. Это ты расстроен.

Он ведь жил этим. Любовь к кино. (И лишь отчасти боль обобранного.) Он ведь жил этой любовью. Мне думается, он по утрам становился бы на колени и молился возле пустого экрана, если бы это практиковалось. «Это ты расстроен», – повторил я, и он не нашел что ответить. Он уставился в свой стакан и видел то, что там можно было увидеть, – мелкое кружево пены.

Затем он выволок из грудного кармана письмо от Уточкина. Уточкин тоже был из нашей Мастерской. Тут не помещает пояснение. Как и Коля, Уточкин был из преуспевших в кино. Как и Коля, он быстро шел в гору. Из всех наших их только и было двое таких, и, может быть, письма, которыми они обменивались, уже сейчас принадлежали истории и поджарым архивным крысам. В письме Уточкин сообщал, что по его сценарию начали снимать очередной фильм – этой зимой будет осчастливлена некая деревенька Пригорково (в смысле пластичности: в том смысле, что воплотится!).

– Ты куда? – крикнул я.

Коля, размахивая письмом, бросился за кем-то вслед. И исчез минут на десять.

И вот тут это случилось. Я сидел в одиночестве, а некто лысеющий (очередная личность), проходя мимо, дружески потрепал меня по плечу. Дескать, все прекрасно, родной. Мир прекрасен. Мир удивителен. И к этой освежившей меня мысли добавил:

– Слышал я, вы о Старохатове говорили. Великий это че-

ловек... Великий, великий!

И он прошел дальше. К своему столику.

– Не спеши, родной! Эй! – крикнул я, хватая две бутылки и стакан со стола и пристраиваясь ему в хвост.

Меня подняло и потащило следом за ним. И похоже было, что я не знал, зачем и для чего. Я лишь мельком зафиксировал, что лысеющая личность к нам уже подсаживалась и, стало быть, если теперь я к ним, то неловкости быть не может. Тем более – со своим пивом.

– Это почему же он великий? – Я шумно плюхнулся на стул и одновременно обеими руками пристраивал бутылки – свои к общим. Пива к той минуте я уже перебрал, и тон мой, надо думать, был отвратным. Голос тоже. И вообще я уже подумывал, что пора бы домой – к жене и к дочке. К женошке и дочечке. Гули-гули. Бай-бай. Но это не значит, что в ту минуту я плохо слышал или плохо понимал: я слышал как надо.

И услышал.

– Он великий, великий – можешь мне поверить.

– Да ну? – сказал я.

– Поступки великие, потому и человек великий.

– Интересно.

– Я говорю не с чужих слов. Я сам сценарист. И работал вместе с ним над сценарием.

– Это вдвойне интересно, – осклабился я, именно осклабился, потому что сказать «улыбнулся» про то, что сделалось

с моим лицом при такой весточке, никак нельзя.

– Рассказать?

– Расскажи.

И точно – было интересно. Вдвойне. Может быть, даже втройне, или уж не знаю, какая тут нужна арифметика, потому что речь шла о том, что Старохатов Павел Леонидович, известный наш кинодраматург, а также руководитель Мастерской, помог этому лысому замухрышке написать сценарий – притом безвозмездно. Ни фамилии в правый верхний угол, ни рубля в карман. Ни даже бутылки коньяку. Ни-ни.

– Да ты о Старохатове ли говоришь? – переспросил я.

– О Павле Леонидовиче.

– Послушай, родной, может быть, теперь уже стало двое Старохатовых?

– Один. – Он обиделся. И поскольку я не очень-то верил, он пустил в ход подробности, так как больше всего заставляют нас поверить именно они, подробности. Старохатов, к примеру, сам звонил всегда *сразу после обеда*. Он объяснял молодому сценаристу, какую сценку и как именно *перелопатить*... Оказалось, что несколько сценок и сцен Граф написал самолично. Но соавтором не захотел стать. И не потому, что фильм был из рук вон плох. Фильм, кстати, был не лучше других, но и не хуже – обычный.

– Да это же акт чистейшего благородства! – выговорили мои губы, отягченные пивным хмелем.

– Великий он человек, – вторила мне лысеющая личность. – Великий, великий!

И остальные, кто сидел за этим столом – а их было четверо, – тоже кивали головами: великий, великий. . .

Но даже если отбросить славословие, а половину услышанного срезать в счет здорово сработавшего в тот вечер пива, все равно оставалось достаточно. Оставался факт. Бескорыстная работа, как ее ни верти. И, учитывая историю с Колей Оконниковым, можно было лишь недоуменно пожать плечами – дескать, кто их, Старохатовых, знает, кто разберет, – пожать плечами и хватануть залпом пива. А потом по самому обычному человеческому правилу махнуть на все это рукой. Что я и сделал.

Я спросил себя: тебе очень нужен Старохатов и его мышиная возня с Верой и вся эта крупа?

И ответил: мне это не нужно, бог с ними со всеми.

А когда появился улыбающийся, медный, с четырьмя свежими бутылками пива Коля Оконников, я решительно спросил:

– Коля, идем по домам?

– Допьем – и по домам.

Я сказал:

– Нет.

– Ну хоть покурим.

Мы взялись за сигареты. А половину пива подарили, оставили этому столику, где сидел лысеющий и его компания.

Было очень кстати, потому что в течение последних пяти минут я не видел в их стаканах даже пены.

Коля и я шли по улице. Потом мы долго расставались. Было свежо.

– Смотри, какая лунища! – говорил Коля и тыкал в нее рукой.

Я смотрел, пытался смотреть. Но было не до луны.

Потому что мне было плохо от пива. Пошатывало. Отвык. Не то чтоб совсем было плохо, но как раз в той мере, чтобы тарашить глаза на луну или выкладывать правду-матку первому попавшемуся. Тем более если этот первый попавшийся некстати звонит по телефону.

А звонила Вера. Ей я и выложил.

Только я вошел в квартиру, втиснулся в дрему и сон своего жилья – она позвонила.

– Игорь. Ты не появляешься, а время идет. Ты же сказал, что ты что-то знаешь, – и вдруг пропал...

– Ничего я не знаю, – пьяно отрезал я.

– Но как же?

– А вот так же.

Голос Веры взял нотой выше:

– Почему ты грубишь?

И я сказал ей – почему. Я не церемонился, отвел душу. Я сказал ей о Старохатове, который, может, обирает ребят, а может, и нет. И сказал о чужом белье, в котором я не хочу рыться. И что мне неважно, грязное это белье, или чистое,

или только два дня в носке: я не хочу в нем рыться – вот что важно.

На том конце провода было тихо, как в пустом колодце, в который ты бросил гальку и она летит – и никак не долетит до дна.

Вера молчала, я ждать не стал. Повесил трубку.

И тут я почувствовал, что сзади, за моей спиной, кто-то есть – кто-то стоит. Кому случилось к ночи выпить лишнего, знают, что это за штука испуг. Такой вот классический испуг. Ночной. Я оглянулся – она стояла тихо-тихо и улыбалась. Как девочка. Это была она, потому что больше тут некому было появиться, – Аня.

– Я думал, что ты спишь.

– Я спала.

– И Маша спит?

– Да. Все хорошо... Мы вместе уснули.

Аня спала, так и было. Я же сидел возле телефона на кухне – спиной к двери – и не слышал ее шагов.

– Ты все-таки не прав, Игорьь.

– Не прав? (Я потерял нить – а нить была.)

– Я ведь слышала – ты отказываешься помочь Вере Сергеевне.

– Не надо, Аня, об этой помощи. Уже ночь.

Но она сказала – надо, надо, Игорьь. И присела на стул. Терпеливо и, пожалуй, даже ласково Аня высказала то, что надумала, пока стояла за моей спиной, когда я мял пальцами

шнур и выкладывал Вере по телефону правду-матку.

– Тебе не удалось узнать про Старохатова?.. Но ты не огорчайся, Игорь. И ни в коем случае не бросай начатое на полдороге. Ты обязан узнать всю правду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.